

18+

И БЕДНЫМ, И БОГАТЫМ

Консультант



Уровень 1

Ник ???

Профессия:
Некромант

ТОМ 1

ИРИНА ПЛЮТ

Приключения с элементами LitRPG и юмором

Ирина Плют

И бедным, и богатым. Том 1

«Издательские решения»

Плют И.

И бедным, и богатым. Том 1 / И. Плют — «Издательские решения»,

Елена Викторовна Морозова умерла в 63 года. Так считают врачи, семья и закрытый гроб. Сама Елена приходит в себя в молодом теле посреди забытого уголка «Пантеона». Выхода нет, имени и прежнего уровня тоже. Зато есть класс некроманта, три медяка, лопата, самостоятельная мышь и череп с амнезией. Чтобы понять, кто списал её со всех счетов, Елене придётся поднять мёртвых, собрать новый штат и найти дорогу к семье. Её уже похоронили. Второй раз эта ошибка обойдётся дороже.

© Плют И.

© Издательские решения

Содержание

Глава 1. Пролог	6
Глава 2. Выход не найден	12
Глава 3. Может, удалить?	17
Глава 4. Ярмарка вакансий	23
Глава 5. Покойник к ужину	30
Глава 6. Почерк	38
Глава 7. За работой	44
Глава 8. Три медяка	51
Конец ознакомительного фрагмента.	52

И бедным, и богатым. Том 1

Ирина Плют

© Ирина Плют, 2026

ISBN 978-5-0070-9113-8 (т. 1)

ISBN 978-5-0070-9114-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1. Пролог

Елене Викторовне Морозовой было шестьдесят три года, и последний вечер своей жизни она провела как обычно.

Дом её к вечеру пустел по расписанию: прислуга уходила в восемь, охрана оставалась снаружи, внутри оставались она и тишина — большая, ухоженная, оплаченная тишина, которую она выстраивала так же долго, как свой бизнес. Город за высокими окнами гудел на той единственной ноте, которую выучил к две тысячи тридцать седьмому году, — ровной, электрической, без человеческого: только автоматизация и ничего лишнего. Елена Викторовна прошла тёмными комнатами, не зажигая света. Свет ей был не нужен: в этом доме она знала наизусть каждый угол, а больше в нём знать было нечего.

Журналисты любили отсчитывать её биографию от первого миллиона. Сама она отсчитывала иначе — от школьной тетради в клеточку. Елена Викторовна всю жизнь верила не легендам, а бухгалтерии, а та тетрадь и была её первой бухгалтерией.

Тетрадь лежала в кабинете, в нижнем ящике стола, под документами, которым позавидовал бы иной государственный архив. Восемьдесят пятый год, город при заводе, мать на двух сменах на ткацкой — отца хватило до её семи лет, и о нём в семье говорили так же, как о погоде за прошлый вторник. В одиннадцать лет Лена взяла деньги семьи на себя, потому что кто-то же должен: матери с её двумя сменами было физически некогда уследить за всем, а дочь была уже достаточно взрослой, чтобы помогать. В тетради было записано, сколько стоит четверг. Сколько стоит зима. На сколько хватит, если мать ляжет. Хватало всегда — потому что Лена считала честно, до копейки, а с теми, кто считает честно, цифры ведут себя прилично.

Это был первый закон, который она вывела сама, и он не подвёл её ни разу за пятьдесят лет. Подводили исключительно люди.

После школы она пошла на бухгалтера. «Самая скучная профессия на свете, но голодной не останешься», — вздохнула классная, подписывая характеристику. Через два года страна перевернулась, и выяснилось, что скучная профессия — единственная, умеющая читать новый мир с листа. Права классная оказалась по обоим пунктам — а по второму даже сильнее, чем думала: хорошие бухгалтеры нужны при любой власти, грамотные — особенно, и голодными они не сидели ещё ни при одной. В девяносто третьем девятнадцатилетнюю Морозову взяли на подработку в контору с решётками на окнах: мальчики в кожаных куртках, железная дверь, оборот, о котором не пишут. Взяли, потому что она одна со всего потока могла свести им правильный баланс, не задавая лишних вопросов, — и очень скоро она одна во всём здании знала, где на самом деле лежат деньги, кто кому должен и на сколько.

Знать, где деньги, — это и есть власть. Она поняла это раньше сверстников и даже раньше работодателей — что в кожаных куртках, что в малиновых пиджаках. Не потому, что мальчики были глупы: мальчики вертели как могли, новые правила диктовали новые мотивы. Просто её мотивы начались раньше — лет в одиннадцать, с тетради в клеточку, — и в девятнадцать она вертела цифрами так, как вертят их тётки с тридцатилетним стажем в кабинетах главбухов. Амбиции и голова — само собой; но быстрее амбиций гонит нужда, а нужды ей отсыпали с детства. Поэтому она их всех и пережила.

Мишу она встретила в том же девяносто третьем — он пригнал грузовик под её первую собственную партию товара, наличными она тогда рисковать не стала и поехала в кабине сама, с сумкой на коленях. Водитель всю дорогу молчал. А на месте выяснилось, что грузчики, которым заплатили вперёд, свалили всю партию не под навес и не на склад, а прямо на открытую площадку — кучей, как попало, под начинающийся дождь. По принципу, который был написан у них на лицах: и так сойдёт.

Она не стала кричать. Она ровным голосом объяснила, что будет дальше: всё переносится внутрь, немедленно, теми же руками, которые это сюда свалили. И встала рядом — смотреть. Пристально, не мигая, пересчитывая коробки взглядом, пока обнаглевшее хамло — одна извилина на всех, и та прямая — перетаскивало товар под крышу.

Водитель подошёл и предложил помочь потаскать.

— Не смей, — сказала она, не поворачивая головы. — Им заплатили за услугу. Вместо услуги они накосячили. Пусть учатся на ошибках — физически и финансово: за каждую испорченную коробку и каждый недочёт я спрошу с них деньгами.

Он обалдел так, что остался. Раскрыл над ними двумя зонт и простоял до последней коробки. А потом усадил её в кабину, налил из термоса горячего чая и отдал бутерброды, которые утром собирал себе.

Она мёрзла, и её трясло — то ли от злости, то ли от отчаяния, — но виду не подавала ни на намёк: спина прямая, голос ровный, взгляд считает. Он разглядел только потому, что стоял вплотную, под одним зонтом. А трястись было от чего: в этих коробках лежали все её деньги до копейки, и пропади партия — начинай сначала, с тетрадки. Но мальчики из конторы с решётками успели преподать ей главное правило времени: за косяки платят. Иногда деньгами, иногда кровью. Провинившимся она назначила первый вариант — спросила сполна, а где не хватило собственного веса, хватило слова парней из конторы: парни не отказали. Больше подобных проблем у неё не возникало ни с этими, ни с какими другими. Характер показывают сразу — особенно тем, у кого на всё про всё одна фраза: «и так сойдёт».

Он был простой. Так о нём говорили с лёгким недоумением все, кто её знал, — простой водитель, надо же, — и никто из них не понимал, какая это редкость. Миша один во всём городе её не боялся, потому что бояться ему было нечем: он у неё ничего не просил. Он просто любил её — такой, какая есть, — и один на всём свете знал, какая Лена на самом деле. Что после тяжёлого дня она может сесть в коридоре на пол и расплакаться. Что, переступив порог дома, она становится обычной девчонкой — и больше нигде, ни перед кем.

Сам он носил часы «Восток», чинил всё, что имело резьбу, смеялся так, что оборачивалась улица, и звал её «бухгалтерия моя ненаглядная» — единственное прозвище за всю её жизнь, на которое она отзывалась, и отзывалась с улыбкой. Только он умел так шутить. Только он умел так любить. И только он умел удержаться, когда хотелось бросить всё и сбежать из того дерьма, что творилось тогда в стране, — а хотелось не раз: покушения шли чередой, попытка убийства, попытка изнасилования, ещё и ещё, столько, что со временем она — женщина, считавшая всё, — сбилась со счёта. На плаву её держала семья. Только семья.

В девяносто пятом родился Павлик. В девяносто седьмом — Даша.

В октябре девяносто восьмого Мишу убили у ворот её склада — за партию товара, которая по нынешним ценам стоила бы дешевле цветов в её приёмной. Убили случайно, просто так.

Девяностые любили забирать своё, а своим они считали всё, до чего дотягивались. Те, кто приехал на двух машинах, даже не знали, чей это муж, — они просто напились и поехали кататься. Они вообще не поняли, что произошло что-то важное. Они даже не притормозили.

Той же зимой — страна ещё дымилась после августа — вдова Морозова вошла в рынок так, как входят в драку люди, которым уже нечего сломать. «Была не была», — сказала она себе, подписывая первую из бумаг, и скупилась за копейки то, что горело у всех на глазах. Лучшую сделку её жизни совершила женщина с двумя детьми и пустым местом за левым плечом — потому что лучшие цены рынок открывает тем, кому нечего терять, и зимой девяносто девятого во всём городе не было человека платёжеспособнее.

О следующих годах биографы писали «стремительный рост». Конкуренты не писали ничего: выжившие конкуренты вообще предпочитали её не упоминать — не дай бог вспомнит и прикопает где за сараем. Не лично, нет. Но методы имелись. К двухтысячному от рынка, на

котором стоял тот склад, не осталось ни вывески, ни хозяев — разошлись, разорились, разъехались, каждый по своей отдельной, тщательно посчитанной причине.

Счёт по тому октябрю закрывался долго и без спешки. Тех, кто в тот вечер сидел в двух машинах, было семеро, и к две тысячи первому шестеро уже расплатились — каждый по-своему: кто сроком, кто разорением, кто отъездом в никуда. Злопамятной она не была — злопамятность вообще эмоция, а здесь была бухгалтерия. Просто нельзя оставаться чистым перед законом, даже если твой дядя — прокурор: дядю можно подвинуть, это вопрос техники. А вот совесть у таких не ёкает никогда, на неё в расчётах не закладываются.

Седьмой был последним и самым непотопляемым. Шлейф пьяных выходок и отмазок тянулся за ним широкий, дядина подпись работала безотказно — пока последней выходкой не стала женщина с ребёнком на переходе. Два трупа. Вот именно этот случай и не дал гадёнышу уйти далеко.

А в две тысячи первом человек, чьё имя Елена Викторовна ни разу в жизни не произнесла вслух, не вернулся с рыбалки. Болота в тех местах глубокие, осень стояла тёплая, искали неделю — для порядка.

Шёпотом говорили — Морозова. Знали, что именно этот человек виновен в смерти её мужа. Она не подтверждала: подтверждение — улика. Она не опровергала: опровержение в её кругу читали как слабость.

Правда осталась там, где остались девяностые, — под тёплой осенней водой, — а легенда работала на неё следующие тридцать лет бесплатно, без выходных и больничных. Лучший сотрудник за всю историю холдинга — страх.

Дети росли как проекты: лучшие няни, лучшие школы, инструкции для персонала в трёх экземплярах, дзюдо для сына и для дочери. В две тысячи пятом Даша играла снежинку в школьном спектакле; Елена Викторовна в этот час закрывала сделку в другом часовом поясе, и няня прислала запись личным самолётом. Запись она посмотрела в два часа ночи, в кабинете, до половины. Дела.

Павлик ещё мальчишкой пережил покушение — из тех историй, о которых семья не говорила даже между собой, — и вырос в человека, который безупречно держит лицо, а при нужде зубами порвёт любого. В мать. Даша выросла умной, цепкой и артистичной до кончиков пальцев: людей она видела насквозь и умела делать вид, что не видит. Бизнес она бы потянула — мать знала это лучше всех. Именно поэтому и держала её от дел подальше: чем дальше девочка от этого мусора, тем спокойнее матери.

Разъехались оба рано — сын сам, дочь с её молчаливого благословения, — организованно, вежливо, по-морозовски. Она не удерживала. В её тетради против графы «дети» давно стоял результат, который она никому не показывала: единственный в жизни баланс, который не сошёлся, и единственный, который она не стала сводить силой.

В девятом году мальчик из её же ИТ-отдела принёс распечатку про новые электронные деньги — мялся, горел, тыкал в графики. «Игрушка для инженеров», — сказала она и вернулась к настоящим активам. Эту ошибку ей потом припоминали тридцать лет. Единственную, которую вообще смели припоминать вслух.

В семнадцатом сердце выставило первую претензию — прямо на подписании, между вторым и третьим экземпляром. Кардиолога она выслушала, как выслушивают поставщика, сорвавшего график: без паники, с блокнотом. С тех пор кредит обслуживался безупречно — таблетки по часам, обследования по графику, ни единой просрочки. Она была уверена, что с таким контрагентом, как она, сердце не решится на дефолт. Основание для уверенности было ровно одно: до сих пор не решался никто.

На шестидесятилетие — банкетный зал, триста человек, речи по регламенту — дети при-
слали подарок. Его внесли после ухода гостей: ящик в рост человека, белый, с логотипом, кото-

рый она знала по собственному инвестиционному портфелю. Капсула полного погружения, последнее поколение. К ящику прилагалась карточка:

«Любимой Маме. Чтобы не скучала. Отдохни там — ты и так всю жизнь работала... С любовью, дети».

Подписи обоих. Значит, сговорились. Значит, хоть в чём-то её дети действуют сообща — уже, как ни крути, результат воспитания.

Переводом с вежливого Елена Викторовна владела свободно, и рефлекс сработал раньше, чем она успела его придержать: «сплавить мать в виртуальность»?.. Перевод не сложился. Не из чего было складывать: дети давно вели собственные проекты, в её кресле никто не нуждался — дела она и сама собиралась однажды передать, и они это знали. Избавляться от неё было незачем и некому, разве что в шутку, за семейным столом. Карточка означала ровно то, что в ней написано, — редчайший в её практике случай. Именно поэтому Елена Викторовна перечитала её дважды и убрала в нижний ящик стола.

К тетради и часам.

Капсула простояла в гостевой спальне четыре месяца. Потом случилась бессонница из тех, что не берёт даже отчётность, — и она легла в белый саркофаг просто назло кому-то, кому — не уточняла.

Логотип на ящике она, к слову, знала не понаслышке: в компанию-производителя Елена Викторовна вложилась ещё за год до подарка — по рекомендации сына. В технологию не вникала: искусственный интеллект, осознанные сновидения, фазы мозга — не её колонки. Её колонки показывали графики, и графики были прибыльными. Цифры, перспектива, рост — вердикт «покупать». Ну и главное — технология работала. А раз в проспекте фигурировало слово «сон», значит, там по крайней мере можно было технически выспаться.

Классов в «Пантеоне» оказалось десятка полтора: воины, стрелки, маги всех расцветок, кто-то с кинжалами, кто-то со зверьём. Она ткнула в священнослужителя — бело, чисто, статусно, ни грязи, ни возни — и потратила на выбор четыре секунды. Примерно столько же ушло на имя: персонажа она назвала Еленой. Нейминг — дорогая услуга, когда платишь другим, и бесплатная, когда решаешь сама.

Класс назывался «паладин». Через три года это слово знал каждый храм того мира.

Со сном, кстати, не обманули — обманули с масштабом, и в её пользу. Час реального времени равнялся четырём часам игрового — неделя оборачивалась месяцем: двенадцать часов в капсуле давали двое суток очень продуктивных, в известном смысле, каникул, а даже четыре часа реального сна выгружали из головы бытовуху этого мира на долгий игровой день. Разработчики, по слухам, хотели один к десяти, но тревогу забили психологи. Точнее — психиатры: поди потом объясни дуракам, какой из двух миров более реален, и проходи процедуры на вменяемость, чтобы крыша не поехала. Остановились на щадящем.

Елена Викторовна была от системы в восторге. Она наконец-то начала спать — впервые за столько лет, что точную цифру не восстановила даже она. Но ещё больше обрадовало другое: там ей снова было около тридцати. Ничего не болело, ничего не скрипело, спина не брала пауз на подумать. А почти безграничные деньги, как выяснилось, ускоряют развитие и по ту сторону крышки: от банального золота за реал до прокачки семимильными шагами — до вполне приемлемого результата.

Игра дала ей то, что реальность выдавать перестала: рост. Империя больше не росла — не потому, что не могла, а потому, что упёрлась в собственные края; всё, что можно было купить, было куплено, все, кого стоило пережить, — пережиты. А там, по ту сторону белой крышки, снова было куда: уровни, репутации, ордена, интриги — честная, размеченная, бесконечная лестница. Триста ступеней за три года. В том мире к ней приходили не за наследством, и одного этого хватило бы, чтобы возвращаться.

Задания она принимала, как подписывают типовые договоры, — не читая. «Предать еретиков свету» — принять. Опыт шёл хорошо, орден был доволен. Кто такие еретики, она не поинтересовалась ни разу: в типовых договорах не бывает ничего интересного.

Сегодняшний банкет она готовила полгода. Полгода интриг, услуг и точных ходов за место в списке из двенадцати приглашённых: орден выставял новообретённую реликвию, обещали короля. Шёпотом — так, как шепчут только о том, во что очень хотят верить, — обещали кое-кого повыше короля.

Вечер она провела правильно.

Проверила почту — сорок минут, всё по папкам. Отклонила два приглашения на завтра, приняла одно на пятницу. Выпила таблетки — все, по часам, запив водой комнатной температуры, как предписано: кредит обслуживается, претензии не принимаются. Сбросила звонок с незнакомого номера — незнакомым она не перезванивала никогда.

Потом открыла нижний ящик стола.

Мишины часы она заводила по воскресеньям — тридцать девять лет, не пропустив ни одного, это был единственный пункт её жизни, не внесённый ни в один график, потому что некоторые вещи не доверяют графикам. Сегодня была среда. Но перед важными днями она заводила их внепланово — на удачу, сказала бы она, если бы признавала удачу; на всякий случай, говорила она себе, признавая только случаи.

«Восток» затикал в тишине кабинета — ровно, старательно, по-простому. Завода хватало на пять дней.

Елена Викторовна Морозова закрыла ящик, прошла в гостевую спальню, легла в капсулу и опустила крышку. Белый свет сузился до полоски и погас.

— Полное погружение начнётся через три... две...

Она закрыла глаза.

Больше она их — там — не открывала.

Часы в кабинете шли ещё пять дней.



Глава 2. Выход не найден

Существует очень короткий список причин, по которым женщина моего положения может очнуться лицом в грязи. Я перебрала его весь, не поднимая головы: insult, похищение, корпоративный тимбилдинг. Реальность оказалась оскорбительнее всех трёх пунктов сразу.

Грязь была настоящая. Холодная, жирная, с внятной нотой рыбы и отдалённой — навоза. Четыре миллиона за капсулу полного погружения — и вот, значит, на что ушёл мой платёж. На достоверный аромат рыбных потрохов. Найду ответственного за студию запахов — премирую. Посмертно.

Пока я лежала, мимо прошли четверо. Ни один не наклонился. Что ж. Почти как моя планёрка по понедельникам.

Я села.

Руки я увидела первыми. Чужие. Тонкие запястья, обгрызенные ногти, мозоли на ладонях — трудовые, честные, отвратительные. Я двадцать лет не открывала сама даже дверцу автомобиля, а эти ладони явно открывали в жизни всё, включая мешки с картошкой.

— Так, — сказала я вслух. Голос тоже был чужой: молодой, высокий, с простудной хрипотцой. — Интересно.

«Интересно» в моём исполнении всегда означало, что кто-то будет уволен.

Я встала. Тело послушалось легко, даже слишком: ни хруста в коленях, ни той вежливой паузы, которую мой позвоночник обычно брал на подумать. Лет девятнадцать этому телу. От силы двадцать. Тощее, лёгкое и голодное — голод я опознала не сразу, я успела забыть, как он выглядит изнутри. Платье... назовём это платьем. Мешок с воротом и верой в лучшее.

Сердце стучало ровно и нагло — сердце человека, которому ни разу в жизни не выставял счёт кардиолог. Не моё сердце. Моё так не умело уже лет двадцать.

Из лужи на меня посмотрела девочка: острые скулы, прозрачные глаза, коса, которую в последний раз расчёсывали при прошлой власти, и решительно чужой нос.

— Итак, — подвела я первый итог. — Тело молодое, платье страшное, маникюра нет. По двум пунктам из трёх — уже лучше, чем вчера.

Вокруг была деревня. Не декорация под деревню, какие в «Пантеоне» ставят для антуража у телепортов, — а деревня всерьёз: кривой частокол, грязная площадь, рыбные ряды, над которыми стоял такой плотный дух, что его можно было резать и продавать на вес. Где-то стучали топором. Где-то орал петух — с чувством, с паузами, как приглашённый спикер.

Стартовая локация. Я видела такие три года назад, один раз, проездом — новичковую зону Святая Елена миновала за четыре часа и больше не возвращалась.

Святая Елена. Я машинально расправила плечи — и тело не откликнулось привычной тяжестью брони. Конечно. Ни брони, ни меча, ни белого плаща с золотым шитьём, за который ко мне в личку писали оружейники с предложениями контракта. Триста уровней. Орден Зари. Аудиенция у короля, которую я выгрызла у гильдейских интриганов так же, как когда-то выгрызала лицензию у регулятора. Всё это осталось где-то там — вместе с телом, лицом и именем.

Вопрос на четыре миллиона: где «там» и почему я «здесь».

Я попробовала вспомнить. Последнее, что я помнила, я помнила отлично — до определённой черты. Банкет. Зал Ордена, свечи в человеческий рост, реликвия под стеклом — ради этого вечера я полгода двигала фигуры, чтобы оказаться в списке из двенадцати имён. Король — усталый мужчина с лицом хорошего актёра на плохом контракте. Потом кто-то из клира сказал, что меня ждут. Коридор. Двери.

Огонь.

Большой огонь. Не камин, не свечи — огонь во всю память, до краёв. И боль — без формы, без цвета, просто боль, как если бы её налили в меня доверху и оставили стоять.

Дальше — грязь и рыбные ряды.

Я попробовала ещё раз, аккуратно, как трогают языком больной зуб. Банкет, коридор, двери, огонь — и память соскальзывала, будто край у неё не оборван, а оплавлен. Я, которая наизусть помнит штрафные санкции из договора девяносто восьмого года. Я, которая на спор восстановила по памяти таблицу переговоров десятилетней давности — с именами, суммами и тем, кто в какой момент соврал.

Оплавленный край меня не испугал. Он меня оскорбил. В моей памяти не бывает дыр. В моей памяти бывают только закрытые разделы, и закрываю их я.

Ладно. Разберёмся. Рабочих версий три.

Первая: сбой капсулы. Обновление легло криво, меня выбросило в какой-то тестовый контур, и сейчас в дата-центре потный мальчик смотрит на красный график и решает, кому звонить первому. Сочувствую мальчику. Звонить уже поздно.

Вторая: взлом. Кто-то очень смелый и очень глупый решил, что аккаунт можно подержать за жабры. Тогда потный мальчик сидит не в дата-центре, а в моей службе безопасности, и у него всё впереди.

Третья: я сплю. Против этой версии говорило одно: во сне я бы одела себя приличнее.

План при любой из версий один: поддержка, выход, юристы. Дальше — выжженная земля и покупка их сервера с аукциона. Поставлю в холле, повешу табличку: «Здесь могла быть ваша компания».

— Статус, — сказала я.

Интерфейс отозвался — и лучше бы он этого не делал.

СТАТУС

Имя: [данные повреждены]

Уровень: 1

Класс: не назначен

Профессия: не назначена

Титулы: [ошибка данных]

Достижения: [ошибка данных]

Состояние: ОБНОВЛЕНИЕ... 97%

Уровень: единица. Я посмотрела на эту цифру так, как смотрела на квартальные отчёты, начинающиеся со слов «к сожалению».

Поле имени — повреждённые данные. Не пустота, не прочерк — именно повреждение, как в плохо рассекреченном документе. Титулы и достижения — «ошибка данных». Три года, триста уровней, «Опора Веры», «Длань Зари», «Гроза Ереси» и ещё четыре десятка строк, которыми я, что уж теперь скрывать, любовалась перед сном чаще, чем фотографиями внуков... «Ошибка данных». Прекрасно. Даже здесь успели всё перекроить без моего ведома.

А в самом низу — полоска обновления. Девяносто семь процентов. Я подождала. Полоска стояла. Я подождала ещё. Полоска стояла принципиально — с выражением, которое я хорошо знала по некоторым сотрудникам: «работа ведётся».

В углу зрения обнаружили часы: 23:51. Секундная стрелка не шла. Время в этом заведении умерло без четверти полночь, и никто не вызвал ему врача.

— Карта.

«Регион не опознан».

— Прекрасно. Выход.

Кнопка была. Кнопка существовала, светилась и всем своим видом обещала сотрудничество.

«Выход недоступен. Причина: ошибка».

— Выход.

«Выход недоступен. Причина: ошибка».

— Вы-ход.

«Выход недоступен. Причина: ошибка».

На сорок первом нажатии я остановилась. Не потому что поверила — потому что запретила себе сорок второе. Паника — это когда ты делаешь то же самое сорок второй раз и ждёшь другого результата. Я не паникую. Я эскалирую.

Пальцы сами сложились в жест малого благословения — триста уровней муштры, движение короче вдоха. Так я три года начинала любой разговор с неприятностями: искра света над ладонью, чтобы собеседник помнил, с кем говорит.

Свет не пришёл.

Я посмотрела на пустую ладонь дольше, чем следовало. Впервые за три года мне не ответили — там, наверху, где раньше отвечали всегда, мгновенно, на самое короткое движение. Список умений был пуст. Не «ошибка данных» — просто пуст, как будто никакого света никогда и не было.

Так. Это мы тоже запишем. В раздел «убытки». Он у нас сегодня быстро растёт.

Нужен был кто-то живой. Я выбрала торговку за ближайшим прилавком — крепкую женщину в платке, которая раскладывала рыбу с сосредоточенностью сапёра.

— Свежий улов! Утренний, свежий! — сообщила она пространству.

— Любезная, — я подошла. — Одно уточнение. Что это за место?

— Свежий улов! Утренний, свежий!

— Место. Как называется. Деревня, регион, что угодно.

Торговка повернулась ко мне всем корпусом, улыбнулась ровно на ширину прилавка и сказала:

— Свежий улов! Утренний, свежий!

Глаза у неё были как у рыбы, которую она продавала, только рыба выглядела заинтересованнее.

В «Пантеоне» массовку делали живее. Это был их коронный номер, их строчка в каждом пресс-релизе: «нейро-персонажи, неотличимые от игроков». Со стартовой швеей я в своё время поспорила о десятине — и проиграла. А эта женщина была дешевле собственной рыбы. Заводная пластинка в платке. Из какого подвала её выкатили и почему сюда — вопрос номер шесть, в очередь.

— Благодарю, — сказала я пластинке. — Советование было продуктивным.

— Свежий улов! — согласилась она.

Оставалась поддержка. Я откашлялась и произнесла спокойно, вежливо, в пространство перед собой — так, как учат говорить с диспетчерами:

— Служба поддержки. У пользователя технический сбой: заблокирован выход, повреждён профиль. Прошу оператора.

Тишина. Петух прокомментировал, но по существу ничего не добавил.

— Служба поддержки. Повторный запрос. Сбой критический.

Тишина.

— Обращение номер три. Фиксирую время. Фиксировать, впрочем, нечем — ваши часы стоят.

Тишина стала какой-то даже уютной.

Хорошо. Есть переговорная поза номер один: вежливость. Есть номер два: регламент. А есть номер три — та, ради которой меня когда-то звали на сделки, не касавшиеся меня вовсе. Просто чтобы я посидела в углу и посмотрела на людей.

Я вышла на середину площади, отряхнула рукава — жест бессмысленный, но настраивающий — и заговорила негромко. Кричат слабые. Сильные говорят так, чтобы наклонялись слушать.

— Значит, так. Я не знаю, какой именно отдел отвечает за этот балаган, но я найду его руководителя, руководителя его руководителя и того одарённого, который подписал релиз. Я читала ваше пользовательское соглашение — всё, включая шрифт восьмого кегля, которым вы прячете пункт о форс-мажорах. Его писал юрист, которого я бы не взяла оформлять возврат чайника. Далее. Каждая минута моего пребывания здесь — это цифра. Цифра растёт. Когда она вырастет достаточно, я не подам на вас в суд — суд это долго. Я вас куплю. Целиком, с потрохами, как вон ту треску. И первым же приказом переведу весь ваш отдел контроля качества сюда — в эту деревню, к этой женщине, слушать про свежий улов. Пожизненно. Без права переписки.

Пауза. Где-то хлопнула ставня.

— У вас шестьдесят секунд, — закончила я. — Потом я начинаю считать убытки. А мои убытки, спросите любого, всегда становятся чьими-то похоронами.

Я стояла посреди грязной площади — девчонка в мешке с воротом, без имени, без уровня, без света над ладонью — и считала про себя. На счёте «сорок четыре» воздух над рыбными рядами лопнул. Сухо, коротко, как перегоревшая лампа.

Из разрыва шагнули двое.

Меня слышали. Не потому, что я была права, и не потому, что испугались. Позже выяснится: система насчитала сорок одну жалобу, приписала мне какой-то хитрый обход капчи и пометила как статистическую аномалию. Капчи я в глаза не видела и ничего не обходила. Явный баг просто оказался убедительнее моих аргументов.

Ну что ж. Не в первый раз.

— Наконец-то, — сказала я и поправила рукав худшего платья в моей биографии. — Совещание объявляю открытым.



Глава 3. Может, удалить?

Их было двое, и оба висели в трёх сантиметрах над грязью.

Я запомнила это раньше, чем лица: чистые кроссовки над раскисшей площадью. В этом мире грязь касалась только тех, кто в нём жил.

Первый — постарше, лет тридцати, серое худи с эмблемой «Пантеона», щетина человека, который бреется по чётным, а сегодня нечётное. Второй — совсем мальчик, тощий, с планшетом из голубоватого света, который парил перед ним сам по себе. Мальчик смотрел на меня. Старший смотрел сквозь меня — в какое-то своё окно, где, судя по лицу, происходило что-то более важное.

— Господа, — сказала я. — Начнём с главного. У пользователя заблокирован выход, повреждён профиль и снесены умения. Мне нужен ваш руководитель, доступ к аккаунту и объяснение. Порядок любой.

— Слышь, — сказал старший. Не мне — мальчику. — Это вот она нам фильтр продавала?

— Ага, — мальчик листнул что-то в планшете. — Сорок одна жалоба за двадцать минут. И обход капчи какой-то хитрый. Явный баг. Спам-порог сорвала.

— Непись?

— Непись.

— Я не «непись», — сказала я тем голосом, от которого в переговорных начинали скрипеть стулья. — Я пользователь. У меня аккаунт, капсула и договор с вашей компанией, который вы в данный момент нарушаете по четырём пунктам. Меня зовут...

И дальше не было ничего.

Не пауза. Не спазм. Просто — ступенька, которой нет в темноте. Рот открыт, воздух идёт, а слова не существует. Я знала своё имя. Я держала его в голове, ясное и твёрдое, как печать. Оно кончалось там, где начинался голос.

— Меня зовут... — повторила я.

Тишина.

Хорошо. Фамилия. Ступеньки нет. Название холдинга — сорок этажей, мой профиль в бронзе у входа. Нет. Ник персонажа, «Святая Елена», триста уровней, каждый храм этого мира. Нет.

Всё, что вело ко мне, было перерезано. Аккуратно, под корень, одним движением.

— Во, — оживился старший. — Зырь, зависла. Нейронка ток-ток-ток. Кирюх, чекни у неё генератор речи, может, версия старая.

— Не зависла я, — сказала я. — У вас фильтр стоит на персональных данных. Снимите его, и мы сэконоим друг другу час.

— Не, ну складно шпарит, — признал старший. — Слышь, а скажи чё-нибудь умное.

Он обратился ко мне впервые — тоном, каким говорят с колонкой на кухне.

— Умное, — сказала я, — это уволиться до того, как я выясню вашу фамилию. Она у вас, в отличие от моей, пока произносится.

Старший заржал. Честно, в голос, запрокинув голову.

— Кирюх, ты это пишешь? В чат пацанам кинем. «Скрипт агрессии, версия люкс».

— Скрипт агрессии, — повторила я. — Мальчик. Я и есть скрипт агрессии. Меня двадцать лет тестировали на живых людях. Ни один релиз не откатали.

— Пишу, пишу, — пробормотал Кирюха. Он не смеялся. Он хмурился в планшет, и мне это нравилось больше, чем смех. Хмуриющийся человек читает. — Толь, глянь. У неё поле имени битое. Не пустое — битое. Повреждённые данные. Я такого не видел ни разу.

— Обнова покорёжила, — старший даже не повернулся. — Чё у неё по статусу?

— Объект: НПС. Идентификатор: НПС-114-0d3... длинный. Локация: Нижние Плёсы. Состояние... — Кирюха присвистнул. — Обновление висит. Девяносто семь процентов, четвёртые сутки.

Меня в жизни называли по-разному. Стервой — за глаза, благотельницей — в глаза, «уважаемым акционером» — в письмах, которые лучше бы не отправляли. Но серийным номером — впервые.

— Четвёртые сутки? — переспросила я. — Прекрасно. Значит, четверо суток ваша система держит пользователя взаперти. Это уже не иск. Это уголовное дело. Незаконное удержание. Я разберу вашу контору на запчасти и продам...

— Слышь, она нас купит, — с удовольствием сообщил старший мальчику. — С потрохами. Как треску. Не, ну потешная. Так, ладно. — Он наконец посмотрел на меня. Так смотрят на принтер, зажевавший бумагу. — Может, её того. Удалить?

— Зачем? — спросил Кирюха.

— Как зачем. Она же двинулась башкой. Висит, спамит, игроков пугать будет.

Вот тогда это и случилось. Не страх — страх пришёл позже, с опозданием, как пеня за просрочку. А в тот момент — только холодная, очень ясная мысль: сейчас два человека в чистых кроссовках решают, существовать ли мне, и решают между делом, потому что торопятся.

— Погодь, — Кирюха ткнул в планшет. — Не выйдет. На ней же обнова висит, ошибка. Объект заложен до завершения. Удалить нельзя.

— Тьфу. Ладно. — Старший зевнул. — Щас в тех напишем, что у них непись повис. Кирюх, заведи тикет. Приоритет ставь низкий, а то опять премию срежут за ложные криты. И это... разрешение на писанину ей выруби, чтоб не спамила.

— Не смейте, — сказала я. — Это единственный канал связи. Вы отрезаете пользователя от...

Тихий звон. В углу зрения серым налился значок «Поддержка». Я нажала. «Нет доступа». Нажала ещё раз. «Нет доступа».

— Всё, отписалась, — удовлетворённо сказал старший. — Пошли, там Мясник против Костолома, финал. У меня косарь на Мясника.

— Мясник сольёт, — сказал Кирюха. — У него после патча хват порезали.

— Да чё ты понима...

Воздух лопнул — и склеился. Площадь опустела. Только грязь, рыбные ряды и петух, который наконец счёл возможным высказаться.

Хотя нет. Не только.

Мальчик, Кирюха, в последнюю секунду оглянулся. На меня. Полвзгляда, четверть, — но оглянулся. Я знаю цену таким взглядам. На них строятся сделки, браки и государственные перевороты. Мальчик унёс с собой занозу, и я очень надеялась, что она нагноится.

Руки дрожали.

Я посмотрела на них — чужие, тонкие, в цыпках — и распорядилась прекратить. Руки не подчинились. От холода, разумеется. В этой деревне сыро, а платье у меня из категории «саван эконоом».

Меня только что чуть не удалили два мальчика, спешившие на гладиаторов. В прежней жизни такое решение согласовывали бы полгода, тремя комитетами и одним выездным собранием с обязательным тимбилдингом. Здесь уложились в четыре минуты, и спасла меня не правота, не связи и не сорок лет репутации. Меня спасла ошибка обновления. Девяносто семь процентов. Я жива, потому что полоска не доползла.

Страх догнал минут через десять, когда я села на перевёрнутую бочку за рыбными рядами. Он был честный, физиологический — молодое тело боялось добросовестно, всем животом. Я дала ему три минуты по внутреннему регламенту. Потом закрыла вопрос.

Итак, инвентаризация.

Активы: тело, девятнадцать лет, здоровое, если не считать недокорма. Голова — моя, со всем содержимым, включая шестьдесят лет опыта и память, которая помнит всё, кроме одного оплавленного края. Язык подвешен. Совесть гибкая. Всё.

Пассивы: ноль денег. Ноль статуса — хуже: статус «объект». Заблокированный выход. Отрезанная поддержка. Имя, которое не произносится.

С именем я провела следственный эксперимент тут же, на бочке. Взяла щепку, разгладила грязь у ног. «Е» вышла легко. Дальше рука встала. Не судорога — просто следующая буква... соскользнула. Как память о костре. Тот же оплавленный край, та же аккуратная кромка. Я записала оба явления в одну папку и назвала её «повреждения», хотя внутренний аудитор — а он у меня въедливый — вписал карандашом на полях: «повреждения не бывают такими аккуратными».

Рабочая версия для сна спокойного: защита от социальной инженерии. Неписям запрещено выдавать себя за живых людей — разумная мера, антифишинг, аплодирую разработчику. Ненавижу разработчика.

С бочки я встала уже в порядке. План на остаток дня: аудит.

Обход деревни Нижние Плёсы занял четыре часа и дал результаты, которые я не смогла бы показать ни одному инвестору: тот немедленно вызвал бы мне врача.

Первое. Из сорока с чем-то жителей большинство были — пластинки. Как рыбная торговка. Кузнец бил молотом по одной и той же заготовке: восемнадцать ударов, пауза, осмотр, восемнадцать ударов. Заготовка не менялась. Староста у колодца имел восемь реплик, я вызвала все: про налог, про мост, про то, что раньше было лучше, — и по кругу. Дети гоняли обруч по одному маршруту, и когда я встала на их пути, обруч прошёл сквозь меня, а дети обежали, не заметив. Женщина у третьего дома сбивала масло. Судя по звуку — уже вечность. Масла не будет никогда.

Второе. Игроков в деревне не было. Ни одного. В «Пантеоне» над каждым игроком висит ник — цветной, с рамкой гильдии, их видно за сто шагов. Здесь — ни единого ника на всю деревню. И ни единого сервиса для игроков: ни доски заданий, ни наставника новичков, ни алтаря возрождения. Это была не стартовая зона. Это была просто деревня — фоновая, из тех тысяч, что существуют где-то за краем карты для плотности мира. Театр, играющий пустому залу. Вечно.

От этой мысли мне впервые за день стало по-настоящему нехорошо — хуже, чем от «может, удалить». Удалить — это про меня, это я переживу, я всё про себя переживаю. А тут сорок актёров играли спектакль, который никто никогда не придёт смотреть, и не знали об этом.

Третье — и в отчёте я бы выделила это красным. Не все были пластинками.

Старуха у крайнего дома лушила горох — и следила за мной глазами. Не скриптом «поворот головы на движение», я насмотрелась за день на этот скрипт. Следила. Когда я прошла второй раз, она поджала губы. Осуждение — штучная работа, пластинки так не умеют. Но когда я поздоровалась, она ответила: «Хлеб нынче дорог», — и уплыла взглядом куда-то сквозь меня, как человек, которого разбудили, и он делает вид, что не спал.

И молодая мать у колодца пела дочке колыбельную. Я специально встала рядом и слушала: слова не повторялись. Ни разу за шесть куплетов. Пластинка не может шесть куплетов без повтора. А потом женщина осеклась на полуслове, посмотрела на собственного ребёнка с секундным недоумением — чей это? откуда? — и запела ровно, гладко, по кругу.

Живые. Но подо льдом. Я пометила обоих флажками и запретила себе делать выводы. Выводы по двум точкам делают только аналитики из телевизора.

К полудню голод перестал быть ощущением и вошёл в переговоры. К вечеру — забрал контрольный пакет. Тело хотело есть с такой яростью, с какой я в его возрасте хотела разве что первое собственное кресло. Я попробовала решить вопрос цивилизованно. Пекарь — пластинка о четырёх репликах — на «в долг» просто перезапускал скрипт: «Хлеб по медяку!» На «отработаю» — «Хлеб по медяку!» Экономика этого мира не предусматривала меня в качестве участника. У меня не было даже графы, в которую можно вписаться. Прекрасно. Значит, найдём деньги вне графы.

Решение прошло мимо меня в сумерках — в виде похоронной процессии.

Хоронили кого-то небогатого: четыре доски, шесть провожающих. Пластинки плакали в унисон — вдох все разом, всхлип все разом, — и от этого синхронного горя по спине у меня прошёл холод, не имевший отношения к погоде. Я шла следом на приличном расстоянии, как посторонний консультант.

На кладбище — кривые кресты, овраг, три берёзы — я увидела то, что помнила по храмовым лекциям Ордена: поминальные монеты. Медяки на свежих могилах — плата за переправу, сорок дней лежат, потом земля заберёт. На позавчерашнем холмике их было пять. На вчерашнем — три.

Я подождала, пока процессия отыграет своё и уйдёт по одному маршруту, как обруч.

Это не кража, сформулировала я для себя. Кража — когда у вещи есть живой владелец. Владельцы этих медяков лежали на два метра ниже и претензий не заявляли. Перед нами бесхозные деньги, и я пускаю их в оборот. Переправа, если она существует, потерпит: судя по этому миру, у перевозчика и так безлимит.

Я наклонилась и взяла первую монету.

— Ты чего это, дочка.

Голос был сзади. Я выпрямилась медленно, без суеты — суетятся виноватые, а я провожу оптимизацию.

Старик с лопатой. Сухой, как прошлогодний плетень, в латаном армяке, борода — клочьями. Могильщик: я видела его днём у сарая на краю кладбища и записала в пластинки не глядя. Глаза у него были выцветшие, до цвета воды.

Я уже готовила формулировку — что-нибудь скриптоустойчивое, — когда вода в его глазах вдруг кончилась.

Он посмотрел на монету в моей руке. На могилу. На меня — на меня, внутрь, куда за весь этот день не посмотрел никто, включая двух специалистов в чистых кроссовках.

— Мёртвым не нужно, — сказал он. — Живым нужнее. Бери.

Голос был живой. Усталый, тёплый, с трещиной посередине — голос, которым говорят не реплики, а слова. Он нагнулся, поднял медяк, который я уронила, не заметив, и вложил мне в ладонь. Пальцы у него были твёрдые и горячие.

— Спасибо, — сказала я. Кажется, впервые за день без единого процента иронии.

Старик моргнул. Медленно, как заводная кукла между песнями. И глаза снова стали водой.

— Земля нынче мягкая, — сообщил он кладбищу, взял лопату на плечо и пошёл между крестами, шаркая по одному ему ведомому маршруту.

Я стояла с тремя медяками в кулаке. Монеты были тёплые — от его ладони.

Капсула простояла в гостевой спальне четыре месяца. Потом случилась бессонница из тех, что не берёт даже отчётность, — и она легла в белый саркофаг просто назло кому-то, кому — не уточняла.

Логотип на ящике она, к слову, знала не понаслышке: в компанию-производителя Елена Викторовна вложилась ещё за год до подарка — по рекомендации сына. В технологию не вникала: искусственный интеллект, осознанные сновидения, фазы мозга — не её колонки. Её

колонки показывали графики, и графики были прибыльными. Цифры, перспектива, рост — вердикт «покупать». Ну и главное — технология работала. А раз в проспекте фигурировало слово «сон», значит, там по крайней мере можно было технически выспаться.

Классов в «Пантеоне» оказалось десятка полтора: воины, стрелки, маги всех расцветок, кто-то с кинжалами, кто-то со зверьём. Она ткнула в священнослужителя — бело, чисто, статусно, ни грязи, ни возни — и потратила на выбор четыре секунды. Примерно столько же ушло на имя: персонажа она назвала Еленой. Нейминг — дорогая услуга, когда платишь другим, и бесплатная, когда решаешь сама.

Первая выручка новой жизни: с кладбища, из рук человека, который спит наяву и на три секунды проснулся, чтобы сказать мне мою собственную мысль моими собственными словами. В прежней жизни я бы назвала это плохим знаком. Впрочем, в прежней жизни много чего называли — ровно до тех пор, пока я не покупала называвших.

Завтра — похлёбка.

Послезавтра — план.



Глава 4. Ярмарка вакансий

Похлёбка стояла медяк и пахла так, что молодое тело чуть не разрыдалось прямо у котла. Я ела медленно, с прямой спиной, деревянной ложкой из шерботой миски, — а руки дрожали, и горло сжималось на каждом глотке, и всё это было унижительно до последней степени. Тело благодарило. Тело было готово целовать руки бабе у котла — пластинке о трёх репликах. Я запретила. Тело не послушалось и заплакало одной слезой, которую я списала на лук.

Шестьдесят с лишним лет я не знала, что похлёбка может быть событием. Полезное знание. Ненавижу полезные знания, которые приходят таким путём.

Осталось два медяка. Я отметила это машинально, как отмечаю любой остаток на счёте, и не придавала значения. Зря. Судьба, как выяснится к полудню, умеет выставлять счёт с точностью до монеты.

Звон раздался, когда я ставила миску.

Не колокол — интерфейсный звон, чистый, казённый. В углу зрения, где четвёртые сутки стояли мёртвые часы, развернулось окно:

НОВОЕ ЗАДАНИЕ: Обрести профессию Каждому жителю — своё место. Найдите своё. Награда: право на труд.

Я перечитала дважды.

Право на труд. В качестве награды. Где-то в этой системе сидел человек с выдающимся чувством юмора, и я искренне надеялась однажды пожать ему горло.

Но интереснее было другое. Сутки эта система смотрела на меня как на пустое место: ни квестов, ни доступа, ни строчки. А проснулась она — я сверила время — ровно в ту секунду, когда я потратила первый медяк. Мир заметил меня, когда я заплатила. Знакомая система ценностей. Почти родная.

Над окном висел маркер направления. Я вышла на улицу, поймала его взглядом и пошла, куда вёл, — через площадь, мимо кузнеца на восемнадцатом ударе, мимо женщины с вечным маслом, за околицу, вдоль оврага.

Маркер привёл на кладбище.

— Конечно, — сказала я вслух. — Куда же ещё.

Задание раскрылось, стоило пройти ворота. Над ближним крестом — свежим, вчерашним — засветилась строка. Я подошла.

Прасковья, дочь Митря. Потрошильщица рыбы. Профессия свободна. Обязанности: потрошение, чистка, вынос требухи. Рабочий день: от улова до улова. Оплата: 2 медяка в день. Карьерный рост: старшая потрошильщица (ориентировочно через 14 лет). **Принять профессию?**

Я стояла над могилой Прасковьи, дочери Митря, и осмысляла модель. Профессии в этом мире не выдавали. Их наследовали. Освободилась ставка — забирай, прямо здесь, над остывшей вакансией. Отдел кадров, совмещённый с погостом. Оптимизация, о которой мои эйчары не смели даже мечтать вслух.

— Соболезную, Прасковья, — сказала я. — Но нет. Я двадцать лет потрошила конкурентов, квалификация подходящая, однако рыба хотя бы не подаёт встречных исков. Скучно.

Следующая могила, чуть осевшая:

Глафира, вдова. Прислуга в доме Пеплищевых. Профессия свободна. Обязанности: всё. Оплата: честь служения древнему роду (частично — овощами).

— Частично овощами, — повторила я с удовольствием. — Господа Пеплищевы, у меня для вас плохие новости: ваш финансовый директор — репа.

Дальше — холмик поновее:

Аксинья. Няня. Профессия свободна. Обязанности: пятеро детей мельника. Оплата: стол и кров. Примечание: предыдущие три няни оставили должность. Причина: не указана.

Причина не указана. Три подряд. Я посмотрела в сторону мельницы на пригорке и мысленно пожелала пятерым наследникам мукомольной империи здоровья и хорошей охраны.

— Я вырастила двоих детей и три корпорации, — сообщила я Аксинье. — Корпорации удались лучше. Пропустим.

Швея. Требования: острое зрение. **Оплата:** сдельная.

Я вспомнила свой гардероб — тот, прежний, с отдельной комнатой и климат-контролем, — и закрыла окно молча. Есть вещи, над которыми не шутят.

Была и могила с табличкой «**Пастух — ЗАНЯТО**». Я оглянулась: на дальнем выгоне пластинка в армяке гоняла трёх овец по вечному кругу. Ставка занята. Живым, если это слово тут применимо. Вакансии в Нижних Плёсах открывались исключительно естественной убылью, и кадровая политика мира была честна, как некролог.

Я прошла кладбище до конца. Четырнадцать могил, шесть вакансий, ни одной, ради которой стоило вставать по утрам даже мёртвой.

И вот тут, признаю для протокола, выдержка дала трещину.

— Да вы издеваетесь, — сказала я кладбищу, оврагу и берёзам. — Я заперта в жопе мира, в чужом теле, без имени, без выхода, с полоской на девяноста семи, — и это всё? Это — предложение? Требуха, репа и пятеро детей мельника, о которых бояться писать в примечаниях? Я управляла активами размером с ваше королевство! Я увольняла людей, чьи секретари зарабатывали больше вашего барона! Мне — это?!

Кладбище выслушало. Берёзы промолчали. Петух вдалеке высказался, но, как всегда, не по существу.

Я развернулась, чтобы уйти с достоинством, — и достоинство кончилось на втором шаге: нога зацепила корягу, мир крутанулся, кусты за старой оградой приняли меня всей своей колючей душой, и приземлилась я ладонями и коленями на что-то плоское, твёрдое и холодное.

На камень.

Это была могила. Старая — старше всего погоста, вросшая в землю по плечи, расколота наискось, в лишайнике. И лежала она не в рядах — за оградой, в кустах, в стороне, куда не доставал даже маркер задания. Так хоронят тех, кого не хотят видеть даже мёртвыми.

Я села на пятки и стала читать.

Верхняя строка — там, где положено имени, — не читалась. Не стёрлась: стёртое время оставляет раны, царапины, оспины. Здесь камень был гладкий. Отполированный до тусклого блеска, ровный, чистый — единственное чистое место на всей плите, среди лишайника и трещин, как свежий шрам среди морщин. Имя не разрушили. Имя вынули. Аккуратно, под корень, одним движением.

Я знала эту аккуратность. Я носила такую же в собственной глотке.

Ниже, поперёк трещины, крупно: **Н•КРОМ•НТ**. Две буквы съел раскол — раскол, честный вандал, портит как попало. Слово я собрала за секунду.

Ещё ниже — эпитафия: **УМЕР, НО НЕ ЗАБЫТ**.

Не забыт. У камня без имени. Кто-то высек это либо до того, как имя вынули, либо с очень холодной иронией, и я бы поставила на первое, потому что второе — мой жанр, а мой жанр здесь пока не издавали.

А в самом низу плита уходила в землю, и из земли выглядывал край последней строки. Я разгребла дёрн пальцами — ногти сразу забились чёрным, тело возмутилось, было велено молчать:

...И БОГАТЫМ МЫ ОДИНАКОВО НУ...

Я замерла.

— ...жны, — закончила я вслух. — И бедным, и богатым мы одинаково нужны.

В девять лет я прочла эту фразу в затрёпанной книжке из районной библиотеки. «И бедным, и богатым мы одинаково нужны, — сказал патологоанатом и вытер скальпель об штаны». Я тогда решила стать врачом — из-за одной фразы, вот такая я была дешёвая покупательница смыслов. Потом жизнь предложила условия получше, и я их приняла: я всегда принимаю условия получше. Но фразу запомнила дословно. Фразы — единственное, что я в жизни не теряла ни разу.

И вот она. Высечена на камне без имени, за оградой, в другом мире.

Совпадение. Разумеется, совпадение. Я не верю в знаки — знаки придумали продавцы для нерешительных.

Я перечитала строку четыре раза.

На пятом камень отозвался. Воздух над плитой стусился в окно — не казённое, как утренние, а темнее, глуше, будто писали тем же шрифтом, но при плохом свете:

Обнаружена скрытая профессия: НЕКРОМАНТ Наставник: [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ] Чтобы принять профессию, оставьте плату для души: 2 медяка. **Принять?**

Два медяка. Я разжала кулак и посмотрела на две последние монеты — тёплые, кладбищенские, вложенные мне в ладонь человеком, который спит наяву. Утром у меня было три. Похлёбка забрала ровно одну. Судьба оставила ровно две — тютельница в тютельница на взятку душе. Ненавижу, когда сходится баланс, который я не сводила.

Итак. Совещание. Повестка из одного пункта.

Против. Первое: вонь. Единственный знакомый мне некромант — гильдейский остряк, создавший персонажа на спор после третьего коньяка, — продержался восемь дней и ныл все восемь. Вонь не отмывается. Могилы копать самому. Реагенты гниют в инвентаре. В города не пускают, в группы не берут. «Это класс для тех, кто себя ненавидит», — сказал он, удаляя. Я запомнила, потому что смеялась. Второе: статус. Ниже прокажённого — прокажённому хоть подадут. Третье: я паладин. Была. Триста уровней света, орден, белый плащ. Где-то во мне до сих пор стоят навтыжку эти триста уровней и смотрят на слово «НЕКРОМАНТ» как на аудиторское заключение с пометкой «мошенничество».

За. Первое: альтернативы. Требуха с перспективой роста через четырнадцать лет, репа в качестве оклада и пятеро детей мельника, пожирающих нянь. Второе: скрытая профессия. Скрытая — значит, не типовая. Не типовая — значит, вне рынка. Актив, которого нет в каталоге, либо мусор, либо золото, а мусор мне сегодня уже показали — весь, с расценками. Третье: умения. У паладина умения были козырем против любых обстоятельств; профессия с магией бьёт профессию с требухой при любом раскладе. Четвёртое — и я записала его мелко, в самый низ, туда, куда не заглядывают аудиторы: фраза. Моя фраза. На его камне.

«Кто в здравом уме возьмёт некроманта», — сказал бы любой в «Пантеоне».

В здравом уме я умерла бы в капсуле за четыре миллиона... то есть — стоп. В здравом уме я лежала бы сейчас дома, в капсуле за четыре миллиона, а не сидела на пятках в кустах за кладбищенской оградой, торгуясь с камнем. Планка здравого ума за последние сутки просела так, что под ней можно было проползти не нагибаясь.

— Эх, — сказала я. — Была не была. Хуже уже не будет.

Для протокола: этой фразой начинались три худшие сделки моего портфеля.

И одна лучшая.

Я положила два медяка на гладкое место — туда, где было имя.

Монеты ушли в камень. Не провалились, не звякнули — ушли, как в тёмную воду, кругами.

Земля под плитой вздохнула.

Я приготовилась к худшему. Худшее в моём представлении на тот момент выглядело как мертвец в саване, костяная длань, замогильный глас — весь ассортимент, которым «Пантеон» пугал новичков в подземельях.

Из земли, кряхтя, выкопался череп размером с крупное яблоко.

Он был жёлтый, старый, без двух зубов, в трещине через темя и в комьях глины. Он вылез, как крот, отряхнулся, чихнул пылью — черепа, оказывается, чихают, — взлетел на уровень моих глаз, покачиваясь, как лодка, и заскрипел голосом несмазанной двери, абсолютно уверенной, что она — орган:

— Трепещи, смертная! Ибо пред тобою — ...

Пауза.

— Пред тобою — ...

Череп завис. Я узнала эту паузу. Я сама стояла в такой вчера, перед двумя специалистами в чистых кроссовках. Ступенька, которой нет.

— ...ну, в общем, трепещи, — заключил череп с достоинством.

— Имя не произносится? — спросила я.

— Что?.. Вздор! Моё имя гремело от... от... — он крутанулся вокруг оси, будто искал имя за спиной. — Оно гремело! Это я помню совершенно отчётливо. Гре-ме-ло.

— Где гремело?

— Везде!

— Конкретнее.

— В значительных местах! — череп начал раздражаться. — Я был велик! Я определённо был кем-то выдающимся!

— Судя по амбициям — как минимум герцог, — согласилась я. — Судя по состоянию — мельник.

— Я НЕ МЕЛЬНИК! — взвился череп и от возмущения перевернулся зубами вверх. Пришлось подождать, пока он выровняется. — Я... я — твой Наставник! Вот! Это написано в... в этом вашем светящемся!

В светящемся действительно было написано: «Наставник: [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]». Передо мной висели удалённые данные — жёлтые, щербатые, с глиной в глазнице — и требовали трепета.

Я приняла решение, как принимаю все кадровые решения: быстро и навсегда.

— Значит, так. Имени нет, послужного списка нет, полномочий нет, самомнение — на уровне члена правления. Будешь Консультантом.

— Кем?!

— Консультантом. Оклад — ноль. Ответственность — ноль. Право совещательного голоса — по праздникам. Добро пожаловать в штат.

— Я не... — череп поперхнулся пылью. — Что такое «консультант»?!

— Ты. Теперь — ты.

И пока он подбирал возражение, воздух дозвенел последним окном:

Профессия принята: НЕКРОМАНТ (скрытая) Получено умение: Призыв нежити, ур. 1 Внимание: отношение окружающих к вам ухудшено.

Отношение окружающих. К объекту НПС-114, замурованному в деревне из пластинок. Ухудшено. Я оценила заботу системы: ей было важно, чтобы даже здесь, на дне, я знала — можно глубже.

— Ну-с, — Консультант описал вокруг меня деловитый круг, оставляя пыльный след. — Приступим к Искусству! Начнём с азов. С самых, гм, азов азов. С... — он завис лишь на долю секунды, — с мух! Да. Именно с мух. Древнейшая традиция. Все великие начинали с мух.

— Все великие — это ты?

— Не ёрничай при Наставнике!

Азы азов мы отрабатывали за сараем, на солнечной стороне, где на подоконнике трухлявого оконца обнаружился необходимый учебный материал: одна мёртвая муха и один мёртвый, совершенно окоченевший мышонок-полёвка у стены.

Я, разумеется, начала с мышонка. Я всегда начинаю с самой крупной позиции в списке.

«Призыв нежити» оказался не словами и не жестом — усилием. Как поднять вес, которого не видишь, мышцей, которой у тебя вчера не было. Я потянула. В ушах зазвенело, в глазах стемнело по краям, колени сообщили, что увольняются. Мышонок дёрнул задней лапкой — один раз, презрительно, — и остался абсолютно мёртв.

— Гордыня! — торжествуя проскрипел Консультант. — Классическая ошибка первого дня! Мышь — это тебе не... — он подумал, — не муха!

Я отдышалась, вытерла нос — на пальцах осталось красное — и повернулась к подоконнику.

Муха лежала лапками вверх, маленькая и окончательная.

Я потянула снова — аккуратнее, тоньше, как подписывают документ, от которого зависит слишком много.

Муха дрогнула. Перевернулась. Встала на все шесть. Раскрыла крылья — одно целое, второе на две трети — и взлетела: криво, гулко, восьмёрками, с креном на правый борт.

Живая. В смысле — нет. В смысле —

Настоящая магия. Из моих пальцев. Не купленная, не унаследованная, не выданная орде- ном за пожертвования — моя, сделанная вот этими руками с чёрными от кладбищенской земли ногтями.

Где-то во мне девятилетняя девочка с затрёпанной библиотечной книжкой встала и зааплодировала. Я велела ей сесть. Она не села.

— Поздравляю! — Консультант сиял, насколько может сиять предмет без лица. — Твой первый подданный! Как назовёшь?

— Никак. Имена получают сотрудники, прошедшие испытательный срок.

Муха сделала восьмёрку и врезалась в сарай. Испытательный срок обещал быть долгим.

Консультант вдруг притих. Подплыл ближе — я почувствовала холодок от кости — и уставился на меня обеими глазницами сразу, что для черепа, как я потом узнала, знак высшей концентрации.

— Хм, — сказал он.

— Что «хм»?

— Ничего, — он отплыл, посвистывая мотив, у которого не было ни начала, ни конца. — Показалось. Продолжим обучение! Урок второй: муха должна летать кругами, а не этим позором.

Оставался последний пункт повестки: продовольственная безопасность.

Тихона я нашла у сарая — он правил лопату бруском, размеренно, как метроном. Консультанту было велено сидеть в кустах и не греметь; он оскорбился и загремел, но издали.

— Дед, — сказала я. — Тебе помощник не нужен? Копать, носить, прибирать. Работаю за еду.

— Земля нынче мягкая, — сообщил Тихон бруску.

— За еду, дед. Дёшево. Дешевле не бывает.

— Земля нынче мягкая.

Пластика. Я стояла перед единственным человеком в этой деревне, который однажды посмотрел на меня по-настоящему, и разговаривала с заевшей бороздой. Ладно. Вчера его разбудила правда о мёртвых. Проверим воспроизводимость результата.

Я присела на корточки, чтобы глаза оказались вровень с его — выцветшими, водяными, — и сказала негромко:

— Мёртвым помощь не нужна. А тебе — нужна.

Брусек остановился.

Вода в глазах кончилась — так же, как вчера: сразу, без перехода. Он посмотрел на меня. Внутрь. Потом на мои руки — на чёрные ногти, на ссадину от коряги. Потом куда-то за моё плечо, в сторону старой ограды и кустов, и мне на секунду показалось, что смотрит он слишком точно.

— Лопата в сарае, — сказал Тихон живым голосом. — Похлёбка в полдень.

И моргнул. И вода вернулась. И брусек пошёл по железу дальше, как ни в чём не бывало.

НОВОЕ ЗАДАНИЕ: Подмастерье могильщика Работайте — и вас заметят. Награда: еда, кров, опыт.

«Вас заметят». Я перечитала и решила пока не выяснять, кто именно. У меня в этом мире и так намечился избыток внимательной публики.

Вечером я сидела на пороге сарая — моего нового пентхауса с видом на тихих соседей — и подводила итоги квартала. Штат: один консультант без памяти, одна муха без строевой подготовки, один наставник... второй наставник, который спит наяву и просыпается на пароль. Плюс генеральный директор без имени, без уровня и с полоской на девяноста семи процентах.

Видала я стартапы и хуже. Один даже купила.

За оградой, в кустах, темнел камень без имени. «Умер, но не забыт».

Посмотрим.



Глава 5. Покойник к ужину

Покойник прибывал к ужину.

Аккуратный, тихий, всегда в одно время: солнце садилось за мельницу, с той стороны скрипела телега, и возчик-пластинка сгружал у сарая носилки с телом, накрытым рядном. К носилкам прилагалась одна и та же фраза: «От мельника. Родственник ихний. Гостил». После чего телега разворачивалась и уезжала до завтра.

Первые три дня я думала, что мельник хоронит братьев. Похожих, сухоньких, семидесятилетних братьев с мирными лицами — большая семья, плохой год, бывает. На четвёртый день я, обмывая тело, увидела знакомую родинку под левой лопаткой — треугольником, с волоском — и всё-таки сходила проверить вчерашнюю могилу.

Могилы не было. Ни холмика, ни вмятины. Ровная земля, ровная трава, будто моя вчерашняя лопата мне приснилась.

Я вернулась к столу для обмывания, посмотрела на родинку, на мирное лицо и сказала: — Добрый вечер. Снова вы.

Покойник не возразил. За четыре дня нашего знакомства он не возразил мне ни разу — качество, которое я безуспешно искала в людях лет сорок.

Схема была такая. Каждый вечер к мельнику приезжал погостить дальний родственник — настолько дальний, что имени его не знал никто, включая, подозреваю, самого родственника. Каждую ночь он умирал. Каждое утро мы его хоронили — честно, по обряду, с ямой в полный профиль. К следующему вечеру могила зарастала, как затягивается вода за лодкой, и телега скрипела снова.

Менялась только причина смерти. Мир подходил к вопросу с выдумкой, которой я не ожидала от системы, четвёртые сутки не способной доползти три процента обновления. Родственник успел угореть, подавиться рыбьей костью, упасть с сеновала и отравиться грибами. По одному несчастью на день. Производственная дисциплина у загробного мира была поставлена лучше, чем обновление.

Общим в этих смертях было одно: все они происходили в доме, где жили пятеро детей мельника — тех самых, что съели трёх нянь, причина не указана.

— Дети довели, — поделилась я рабочей версией с Тихоном.

Тихон правил лопату и был в этот момент пластинкой, поэтому сообщил бруску, что земля нынче мягкая.

— Дети! Довели! — с восторгом подхватил Консультант из-за поленницы, где ему было велено сидеть во время визитов телеги. — Пятеро наследников! Классика жанра! В моё время за такую семейку любой суд... в моё время... — он завис, — в общем, было время, и в него что-то было. Хорошее.

Так мы и жили.

Подъём у могильщика — до света. Сначала яма: два на метр, в глубину — «пока глина не пойдёт». За первые дни ладони — те самые, чужие, уже мозолистые — вздулись новыми пузырями поверх старых, лопнули, засохли и переродились во что-то, чем, вероятно, можно было строгать. Я смотрела на них с уважением. Мои прежние руки за шестьдесят лет не сделали ничего тяжелее подписи, и подписи, замечу, выходили разрушительнее любой лопаты, — но эти хотя бы работали честно.

Потом — тело.

Вот здесь начиналось то, ради чего я вставала до света без единой жалобы, и в этом стыдно признаваться даже протоколу.

Тихон над покойником просыпался.

Это происходило всегда одинаково: он подходил к столу пластинкой, брал ковш — и вода из глаз уходила, как из пробитой бочки. Спина выпрямлялась. Руки начинали двигаться по-другому — экономно, точно, в том ритме, каким работают люди, делавшие дело десять тысяч раз. И голос менялся: из скрипучей бороздки — в негромкий, ровный, поставленный. Голос лектора.

— Гляди сюда. Синева по спине и ниже — кровь стекла, где лежал, там и собралась. Трупные пятна, по-учёному. По ним читаешь, как лежал, когда помер и не ворочали ли его после. Надави пальцем. Побелело — свежий. Не белеет — вторые сутки пошли.

Я давила пальцем. Белело. Родственник мельника был свежайший, как утренний улов, — система блюла качество учебного материала.

— Окоchenение с челюсти идёт, сверху вниз. К вечеру отпустит в том же порядке. Пока не отпустило — челюсть подвяжи, не то встанет разинутая, семью пугать... Теперь мой. От головы. Воду — на закат лей, не под ноги себе.

— Почему на закат?

— Потому что так ходит, — сказал Тихон, и я записала это в раздел «нормативная база», которым в этом мире, похоже, служила фраза «так ходит» в разных склонениях.

За эти четыре дня я узнала о человеческом теле больше, чем за предыдущие шестьдесят лет владения одним из них. Я узнала, что печень весит как хороший том годового отчёта, а сердце — как степлер, и что оба факта меня почему-то трогают. Я научилась вязать челюсть, закрывать глаза так, чтобы не открывались, мыть тело от головы вниз, выправлять окоченевшие пальцы — по одному, с терпением, которого у меня не было никогда и которое, оказывается, лежало где-то на складе не востребуемым. Я выучила, что смерть от угара — розовая, от удушья — синяя с точками на белках, «искры», как говорил Тихон, а грибная — жёлтая и с запахом, который не перепутаешь, если один раз... В общем, не перепутаешь.

На третий день я поймала себя на том, что тороплюсь к столу.

Не к яме — яму я ненавидела ровно, стабильно, всей спиной. К столу. К ковшу, к рядну, к негромкому лекторскому голосу. Мне было девять, когда я решила стать врачом, — из-за одной фразы в затрёпанной книжке. Потом жизнь предложила условия получше. И вот, пятьдесят с лишним лет спустя, мир — издеваясь, через жопу, посмертно — выдал мне место в медицинском. Конкурс: один труп на место. Труп многоразовый. Профессор спит наяву. Общежитие — сарай.

Я была лучшей студенткой курса. Курс состоял из меня, но я бы была лучшей в любом.

— Руки правильно держишь, — сказал однажды Тихон, глядя, как я выправляю покойнику пальцы. Проснувшимся голосом сказал, лекторским. — Кто учил?

— Никто.

Тихон посмотрел на меня секунды три. Потом на мои руки. Потом сказал: «Так ходит», — и вода вернулась в его глаза раньше обычного, будто он сам её позвал.

А из-за поленицы донеслось задумчивое:

— Хм.

— Что «хм»?

— Ничего! — Консультант вылетел, вращаясь, и заскрипел преувеличенно бодро: — Урок! Немедленно урок! Искусство не ждёт!

Об Искусстве.

Искусство, по Консультанту, стояло на трёх столпах: Воля, Прах и третий, который он обещал вспомнить позже, потому что «третий столп менее важный, раз я его не помню».

Практика выглядела так. После ужина, за сараем, на солнечной стороне, где нас не видно от деревни, я поднимала муху. Муха поднималась, делала восьмёрку и врезалась в стену. Консультант орал: «Кругами! КРУ-ГА-МИ!» Муха обижалась и врезалась в него. Я пробовала

мышь. В глазах темнело, из носа шло красное, мышь оставалась при своём мнении. Консультант изрекал: «Гордыня!» — и мы возвращались к мухе.

Тем не менее что-то копилось. Я чувствовала это кожей: усилие, которое в первый день выворачивало меня наизнанку, к концу третьего дня стало просто тяжёлым. Как лопата. К лопате привыкаешь.

Прорыв случился на рассвете четвёртого дня, когда я, не спавши после ночной практики, потянула свежую полёвку — тонко, аккуратно, как подписывают документ, от которого зависит слишком многое, — и полёвка встала.

Встала. Села столбиком. И принялась умываться.

Мёртвая мышь умывала мёртвую мордочку мёртвыми лапками, деловито, обстоятельно, как ни в чём не бывало, и это было одновременно самое жуткое и самое трогательное зрелище моей новой жизни.

Уровень 2 Призыв нежити: 1 → 2

— Уровень два, — прочла я вслух. — Поздравляю, генеральный директор. Я растила компании быстрее. Но, признаюсь, реже — честнее.

Мышь закончила туалет, повернулась ко мне и замерла — мордочкой точно на меня, ушками торчком. Я ещё не приказывала. Я вообще ничего не приказывала — я стояла и зажимала нос рукавом. А она уже слушала. Как муха. Как та, первая муха, что развернулась ко мне до команды.

За спиной было очень тихо. Я обернулась: Консультант висел неподвижно и смотрел на мышь обеими глазницами.

— В штат? — спросила я, чтобы разбить тишину.

— А?.. — он вздрогнул всем черепом. — Нет! Испытательный срок! Минимум месяц! Дисциплина прежде всего! — и уплыл за поленницу, насвистывая мотив без начала и конца.

Плантация странностей у меня в голове приросла ещё одной грядкой. Я их не пропалывала. Пусть растут — урожай соберём, когда будет чем собирать.

Про одежду.

На третий день зарядили дожди, и моё платье — мешок с воротом — перешло из категории «саван эконом» в категорию «компресс». Тихон посмотрел на меня утром, ушёл в сарай и вернулся с сундуком. Сундук был старый, кованый, с проросшим насквозь запахом полыни.

— Одежда, — сказал он пластинкой. — Носи.

В сундуке лежали: платье серой шерсти, грубое, крепкое, чиненное в трёх местах мелким, почти невидимым стежком; кожаный фартук; рукавицы; платок тёмный; сапоги — почти в пору, на два пальца велики.

— Чьё это было? — спросила я.

— Земля нынче мягкая, — ответил Тихон, и я закрыла тему. В этом мире у меня набирался целый шкаф закрытых тем, и все — с чужого плеча.

С сапогами вышла отдельная эпопея: к ним прилагались портянки. Тихон — проснувшийся, лекторский — показал мотать: косынкой, без складки, пяткой внутрь. Я, женщина, чья обувь занимала когда-то отдельное помещение с климат-контролем и страховкой, трижды перематывала кусок холста под руководством спящего могильщика и на третий раз услышала: «Годится». Клянусь, за «годится» я в тот момент испытала больше, чем за половину своих сделок.

В обновке я выглядела как приличная кладбищенская работница: серое, тёмное, фартук, платок. Осень-зима, коллекция «Погост». От меня пахло золой, пылью и — неистребимо — профессией.

— Начинаешь пахнуть Искусством! — гордо констатировал Консультант. — Горжусь!

— Это зола.

— Это призвание!

А теперь о том, что творилось с деревней. Потому что с деревней что-то творилось.

Обход я проводила каждый вечер, по привычке, — проверяла всё и сравнивала с прошлым состоянием. И картина начала меняться.

Пункт первый. Торговка рыбой обзавелась девятой репликой. К вечному «Свежий улов! Утренний, свежий!» добавилось: «...и копчёный есть!» Я остановилась посреди площади, когда услышала. Все четыре дня у этой женщины было восемь фраз. Стало девять. Ассортимент расширен. Кем?

Пункт второй. Мост. Тот самый, о котором староста жаловался колодцу в одной из своих восьми реплик, — его начали чинить. Пришли трое. Одинаковые рубахи, одинаковые бороды, одинаковый шаг — типовые рабочие единицы, я таких в деревне раньше не видела. Работали от зари до зари, не разговаривали, не ели. Мост рос.

Пункт третий, странный. Пекарь — пластинка о четырёх репликах, не признававший меня участником экономики, — стал оставлять на подоконнике краюху. Вечером, вчерашнюю, с краю. Первый раз я решила — забыл. Второй раз — совпадение. На третий я забрала краюху и кивнула окну. Окно не ответило, но назавтра краюха лежала ближе к краю.

Система, между прочим, обещала мне «ухудшение отношения окружающих». Окружающие патчноут явно не читали. Старуха с горохом теперь кивала мне при встрече — сдержанно, как кивают соседке с сомнительной профессией, но честной репутацией. Молодая мать у колодца больше не осекалась, когда я проходила: пела дальше. Спящие грелись в мою сторону — на градус, на полтора, — и я не понимала механизма, а всё, чей механизм я не понимаю, я записываю в риски.

Пункт четвёртый. У колодца встала доска. Новая, свежеструганая, смолой пахнет за три шага. Доска объявлений — я знала этот формат по «Пантеону»: сюда вешают задания для игроков. Доска была пуста. Абсолютно, девственно пуста — и оттого выглядела не мебелью, а обещанием.

И пункт пятый, ради которого я в тот вечер изменила маршруту. По деревне — от старостиной пластинки, через кузнеца, в обход — прошёл слух, что в таверне «ожило окно в тот свет». Экран для игроков. Он висел там всегда, тёмный, как заколоченное зеркало, — и вот, значит, засветился.

Деревню не чинили, поняла я, стоя у пустой доски. Починка выглядит иначе — я оплатила на своём веку три реновации и одну реставрацию. Деревню — готовили. Как готовят объект к открытию: витрины, вывеска, свет в торговом зале. Оставался вопрос — к какому открытию и кто перережет ленточку.

Ответ ждал меня в таверне. Впрочем, сначала меня ждала получка.

Утром того же дня Тихон молча положил на стол для обмывания один медяк. Проснувшимся не был; пластинка положила, пластинка и ушла. Жалование. Первый расчёт, без ведомости.

Я взяла монету — тёплую, как всегда у него, — и поняла, что впервые с появления в Плёсах могу позволить себе то, что в прежней жизни называлось «выйти в свет». Свет по нынешним временам располагался в таверне и стоил, по слухам, медяк за кружку кислого.

Экран висел над стойкой — тёмная панель в раме, действительно похожая на зеркало, из тех, что вешают в домах, где не любят гостей. Только это зеркало светилось и показывало мир по ту сторону.

Таверна была почти пуста: хозяин-пластинка тёр кружку заученным движением, в углу над кружками спали наяву двое мужиков с выгона. Я купила кислого — оно оправдало и название, и цену, — устроилась под экраном и приготовилась потреблять контент.

Контент начался с рекламы.

Белая комната, белая капсула, женщина с лицом человека, которому только что списали ипотеку, закрывает глаза. Голос — бархатный, дорогой, я знаю расценки на такой бархат:

«Сон, из которого не хочется просыпаться».

— Врёте, — сказала я экрану. — Хочется. С первого дня.

Хозяин таверны тёр кружку. Мужики спали. Экран сменил картинку на студию новостей, диктор отработал политику, отработал погоду — по ту сторону тоже шли дожди, приятно, что хоть в чём-то миры договорились, — и перешёл к делам деловым:

— ...сегодня страна прощается с...

И назвал моё имя.

Полностью. Легко. Обыкновенно — так, как я уже не могу.

Дальше я какое-то время слушала через стекло. Слова доходили по одному, вразбивку: «скончалась... неделю с небольшим назад... во время сеанса полного погружения... остановка сердца... на шестьдесят четвёртом году...» Кружка стояла. Я стояла. В зеркале над стойкой, если бы я в него посмотрела, стояла девчонка в сером платье и тёмном платке, и у девчонки было очень спокойное лицо, потому что лицо я держу в любом состоянии — это последнее, что я отдам.

Мертва. Там — мертва. Неделя с хвостиком. Пока я ковыряла грязь, судилась с интерфейсом, хоронила много разового родственника и мотала портянки — там меня вскрыли, зашили, оплакали в прессе и назначили прощание.

Так вот почему выход недоступен. Некуда выходить. Кнопка вела в тело, а тело освободило помещение.

Я села. Совещание, объявила я себе. Повестка потом. Сначала — сводка.

— ...расследование обстоятельств смерти завершено, — диктор перешёл к следующей карточке. — Независимая экспертиза не выявила связи между инцидентом и оборудованием полного погружения. Производитель капсул выразил соболезнования...

«Независимая». Я знаю преискурант этой независимости. Я сама по нему платила — дважды, и оба раза «независимая» стоила дешевле правды ровно на сумму иска.

А потом дали похороны, и я досмотрела их до конца, потому что бросать отчёт на середине — дурной тон.

Зал был хороший. Цветов — море, белое с зелёным, флористу — зачёт. Гроб закрытый. Разумно: вскрытие и поспешные похороны — не тот случай, когда показывают товар лицом. У гроба, по протоколу, стояли.

Первым камера взяла заместителя. Мой заместитель плакал — в кадр, ровно, с достоинством, промокая глаза платком, который я же ему и дарила на юбилей фирмы.

— Плачет, — сообщила я кружке. — Надо же. Когда я урезала ему бюджет, он плакал убедительнее.

Панорама по залу. Ага. Фонды пришли — оба, и «Гранит», и эти, вечно голодные. Банк прислал третьего по старшинству: оценили меня, значит, в третьего. Конкуренты — в полном составе, лица скорбные, глаза как на распродаже. Стервятники расселись по насестам и делали вид, что прилетели попрощаться, а не приняться.

— Ждали, значит, — сказала я. — Годами ждали, когда я освобожу кабинет. Дождались. Поздравляю. А теперь новость, господа: живая я. Живая. Адрес не скажу — но живее вас всех, вместе взятых, что, впрочем, несложно.

Потом камера нашла детей.

Сын стоял у изголовья — прямой, каменный, ни складки на лице. Держал. Мой мальчик держал лицо так, как я учила: подбородок, плечи, взгляд вверх зала. Его однажды уже пытались списать с этого света — мальчишкой, давно. Не вышло. Такие, как он, рвут зубами — весь в меня. На похоронах — безупречно.

А потом он поднял руку поправить манжету, камера взяла крупно, и я увидела часы.

«Восток». Простые, стальные, со стёртым ободом — на запястье мужчины, чей костюм шили по мерке в три примерки. Никто в этом зале не понял бы, что это такое. Понимала одна я: эти часы тридцать девять лет лежали в нижнем ящике моего стола и заводились по воскресеньям — моей рукой.

Значит, нижний ящик он открыл. Значит, нашёл — и часы, и всё, что лежало рядом с ними. И из всего, что осталось после меня, — из холдинга, счетов, домов и коллекций — мой мальчик взял на себя отцовские часы за три копейки.

Их надо заводить раз в пять дней, иначе встанут. Если они на нём идут — значит, он их заводит. Значит, теперь воскресенья — его.

Глава рода. Принято. Зафиксировано.

И сердце — молодое, чужое, ни разу в жизни не видевшее кардиолога — взяло и ёкнуло. Без протокола, без согласований, по-простому, по-матерински. Я даже не стала это оформлять. Горжусь. Так, как не гордилась ни одной сделкой за обе жизни. Мальчик мой.

Дочь стояла чуть в стороне, и дочь работала. Скорбь на её лице была поставлена безупречно — ни пережать, ни недодать; театральную школу я оплачивала не зря. А глаза под скорбью шли по залу. По стервятникам. По плачущему заместителю. По банковскому третьему-по-старшинству. Она снимала зал, взвешивала и заносила в реестр — точно так, как делала бы это я. Всю жизнь я держала девочку подальше от своего мусора, и мусор до неё не дотянулся.

Инструмент, как выяснилось, дотянулся сам.

Я отпила кислого. Кислое помогло: глаза защипало от него, исключительно от него, у него и состав подходящий.

— Так, дети, — сказала я тихо. — Отставить. Для сына — инструкции, папка синяя, сейф второй. Для дочери — инструкции, папка серая, там же. Доверительный фонд, душеприказчик, юрист с зарплатой генерала и характером танка. Я всё расписала. Я всегда всё расписываю. Разберётесь. Вы у меня... разберётесь.

Речи были — как заказывали. «Выдающаяся». «Эпоха». «Строила — на века». Партнёр из «Гранита» сказал: «Если бы вы знали её в самом начале пути — вы бы поняли, что она была бы ещё более великой», — и это была единственная фраза за всю церемонию, под которой я бы подписалась: в начале пути я была лучше. Злее. Голоднее. Примерно как сейчас.

Под финал я оценила смету. Зал, цветы, оркестр, трансляция. Вложили нормально. Могли и пышнее — я на их бонусы, помнится, не скупилась, — но в целом сойдёт. Твёрдая четвёрка. Постановка «Прощание с эпохой», один сезон, продления не будет.

— За упокой, — я подняла кружку с кислым к экрану. — Дура старая. Взяла и умерла.

И выпила до дна. И минуту сидела просто так, без протокола, — минуту можно, минута предусмотрена регламентом даже у меня.

Официальная версия: остановка сердца во сне. Безболезненно, сказал диктор. Безболезненно.

Я помню боль. Я помню огонь во всю память и боль, налитую до краёв, и оплавленный край там, где было «что случилось потом». Либо мир по ту сторону врёт, либо мой оплавленный край врёт — и я знаю, на кого ставить: у мира по ту сторону страховка больше и юристы лучше.

Значит, так. Дело «Что случилось на банкете» переквалифицируется из сервисного в следственное. Следователь — я. Доступ к телу потерпевшей — имеется. Ко второму телу. Первое, увы, выбыло.

И сразу — вторая строка в дело. Курс. Час их времени — четыре часа здешнего; это знал каждый игрок, на этом стояла вся реклама «продуктивного сна». Неделя с хвостиком их времени — месяц с несколькими днями здешнего. А я, если сложить грязь, интерфейс,

кладбищенскую академию и портянки, провела в сознании всего четыре дня. Остаётся около месяца, которого нет. Месяц я где-то лежала — без памяти, без счёта, без свидетелей. Где лежала и что со мной за это время делали — вопрос номер два. Нумерация в этом деле обещала расти.

Я поднялась уходить — и уже у двери зеркало-экран сменило тон на бодрый, рыночный: — К новостям индустрии! Корпорация — владелец «Пантеона» — анонсировала крупнейшее обновление за историю проекта. Закрытый бета-тест «Расширения мира» начнётся ориентировочно через четыре месяца и продлится полгода. После него новые регионы — «земли, которых ещё не касалась нога героя» — перейдут в предрелизную подготовку. Список регионов уточняется. Набор тестировщиков...

Я стояла в дверях таверны, держась за косяк, и слушала, как бархатный голос продаёт земли, которых не касалась нога героя.

Мост. Доска. Экран. Девятая реплика у торговки. Краюха на подоконнике.

Деревню не чинят. Деревню готовят к открытию. Нижние Плёсы, жопа мира, деревня-пластинка, которую никто никогда не придёт посмотреть, — попала в список уточняемых. Через их четыре месяца — может быть, никто не обещал, «это не точно», как пишут в самых честных отчётах, — сюда придут первые тестеры. А за ними, если деревня переживёт полгода беты, придут они. Игроки. Герои. Публика с никами над головами, которая зачищает деревни по квесту и хвастается лутом.

И найдут здесь: одну доску, один мост, сорок пластинок, нескольких спящих — и некромантку без имени, с мухой, мышью и черепом на балансе.

Для НПС-некроманта приход игроков — это смерть с опытом для убийцы. Для бага — репорт. Для меня...

Для меня это рынок. Информация, деньги, рычаги, доступ — всё, чего в этой деревне нет и не будет, сначала придёт сюда по одному, вместе с тестерами. Их четыре месяца — мои шестнадцать. А потом начнутся их полгода беты — мои два года: курс один к четырём, неделя к месяцу, и впервые за обе жизни обменник работал на меня. Вопрос ровно один, и я сформулировала его себе на пороге таверны, глядя, как над мельницей встаёт вечер:

чем я буду к открытию — товаром или продавцом?

На кладбище я вернулась в сумерках. У сарая скрипела телега: покойник прибыл к ужину, минута в минуту. Хоть кто-то в этом мире держит слово.

Консультант дремал на поленнице — черепа дремлют, приоткрыв челюсть, теперь я знаю и это. Муха спала в щели. Мышь сидела на пороге сарая столбиком, мордочкой к дороге, ушками торчком — несла вахту, которой я не назначала.

— Утром хороним, — сказала я штату. — Днём учимся. До первых тестеров — год и четыре местных месяца.

Год и четыре месяца. Я выводила компании на биржу за меньшее.

У меня появился дедлайн. Впервые в жизни это слово можно было понимать буквально.



Глава 6. Почерк

Покойник начал умирать неправильно.

Первый месяц он умирал прилично: угар, кость рыба, грибы, сеновал. Смерти были домашние, уютные, с понятной логистикой — так умирают старики в гостях у родни, особенно если родня укомплектована пятью детьми и одной мельницей. Мы с Тихоном принимали товар, читали причину по телу, как по накладной, и утром закрывали поставку ямой.

А потом накладная разошлась с содержимым.

Вечер как вечер: скрип телеги, рядно, возчик со своей вечной фразой — «От мельника. Родственник ихний. Гостил», — формулировка не менялась ни на слог. Изменилось то, что лежало под рядном.

Шея была сломана. Не по-падальному — я уже знала, как ломает лестница и как ломает порог. Шея была свёрнута. Аккуратно, до упора, как пробку.

Тихон проснулся над телом раньше, чем взял ковш, — я впервые видела, чтобы вода ушла из его глаз без прикосновения к работе.

— Гляди, — сказал он лекторским голосом и повернул голову покойника, показывая. — С лестницы так не ломают. С лестницы — вкось, с отломом. А тут ровно. Так — руками.

— Чьими?

— Земля нынче мягкая, — сказал Тихон, и это была первая пластинка, которой я ему не поверила.

Через два дня родственник прибыл с позвоночником, переломленным поперёк — ровно, в одном месте, как ломают ветку через колено, если колено размером с наковальню. Ещё через три — с проломом в черепе. Пролом был с мой кулак, края внутрь.

Кости в ране не было.

Я обыскала рядно, носилки, телегу вслед — возчик не возражал, возчик вообще не имел мнений. Куска черепной кости не было нигде.

— Выпала? — спросила я.

— Забрали, — сказал Тихон.

Он сказал это ровно, тем же тоном, каким объяснял трупные пятна, и от этой ровности у меня по хребту прошёл холод, не предусмотренный погодой. Забрали. Кто-то убил много разового старика — руками, с усилием, с расчётом — и взял кость. Как берут образец. Или реагент. Уж что-что, а цену костям я за последний месяц выучила: в моём ремесле это не мусор. Это сырьё.

— Такое у вас водилось? — спросила я.

Тихон молчал долго. Потом сказал: «Не у нас», — и вода вернулась в его глаза так быстро, будто он захлопнул за собой дверь.

Я завела журнал вскрытий — первый документооборот новой жизни. Дата, причина, характер повреждений, особые отметки. В графе «особые отметки» за неделю появилось: «прижизненный кровоподтёк на предплечье — закрывался», и я предпочла не формулировать вслух, что это значит. Это значило, что последние секунды своей одноразовой жизни много разовый старик видел то, что к нему шло, и успел поднять руку.

Система первый месяц писала смерти как посредственный сценарист — правдоподобно и скучно. Теперь их писал кто-то другой. Или не писал. Или это были не смерти, а последствия, и где-то между мельницей и закатом ходило то, что оставляет такие последствия и собирает кости.

Я записала это в риски, подчеркнула дважды и запретила себе идти посмотреть на мельницу до особого распоряжения. Распоряжаюсь здесь я, и я себе не доверяла: очень хотелось пойти.

При этом — и вот тут начинается странность номер два — деревня оживала.

Не «менялась», как месяц назад, с девятой репликой и краяхой на подоконнике. Оживала.

Кузнец доковал подкову. Я должна это повторить, потому что сама себе не поверила: кузнец, месяц бивший молотом по одной и той же заготовке — восемнадцать ударов, пауза, осмотр, — однажды утром ударил девятнадцатый раз, и на наковальне осталась подкова. Готовая. Кузнец посмотрел на неё с секундным недоумением человека, у которого что-то получилось впервые в жизни, повесил на гвоздь и взял новую заготовку. На гвозде теперь висело четыре подковы. Я ходила смотреть на них, как ходят на выставку.

У женщины с третьего двора случилось масло. Вечность сбивания разрешилась комом жёлтого масла, и в её вечном скрипе появилась пауза — та самая, которой не бывает у пластинок: пауза, чтобы посмотреть на дело своих рук.

Торговка рыбой ответила на вопрос. Я спрашивала её про название деревни месяц — ритуально, как проверяют пульс. И однажды между «свежим уловом» и «утренним, свежим» она вдруг сказала: «Плёсы, знамо», — и осеклась, и дважды подряд, торопливо, как заикание, повторила про улов, будто система прокашлялась и сделала вид, что ничего не было.

Дети сменили маршрут обруча. Старуха с горохом сказала мне целое предложение — «Дождь к ночи, крышу у сарая глянь», — и в предложении был смысл, погода и забота, три вещи, которых не бывает в скрипте. Крышу я глянула. Крыша текла. Старуха была права.

Проверка требовала методики. Я взяла свой недельный список изменений — одиннадцать пунктов — и наложила на карту маршрутов: кладбище, площадь, пекарь, колодец, таверна.

Совпало девять из одиннадцати.

Изменения не расползались по деревне равномерно, как положено обновлению. Они шли полосой — вдоль моих троп, гуще всего там, где я бываю каждый день. Пекарь. Торговка. Старуха, мимо которой я ношу воду. Эпицентр аномалии ходил в сером платье, пах золой и вёл журнал вскрытий.

Корреляция — не причинность, сказала я себе. Потом добавила честно: но премии в моей прежней жизни платили именно за корреляцию. Причинность подвозили позже, к судебному процессу.

Гипотезы было две. Первая: деревню доливают контентом к обновлению, а мои маршруты совпали с чужим планом работ. Удобная гипотеза, спокойная. Вторая — неудобная: что-то из меня протекает наружу. То самое, что муха слышит до приказа. То, на что Консультант говорит «хм» и улетает свистеть.

Я выбрала считать верной первую и проверять вторую. Так я поступала со всеми удобными гипотезами, и до сих пор это окупалось.

Про Консультанта тем временем выяснилось замечательное.

Началось со скандала. В вечер шеи-пробки он замешкался у сарая и не успел за поленницу — возчик сгружал носилки в трёх шагах от парящего черепа. Я приготовилась к худшему: крик, деревня, вилы, весь классический набор. Возчик посмотрел ровно сквозь Консультанта, сказал про родственника, который гостил, и уехал.

— Он тебя не увидел.

— Он меня проигнорировал! — Консультант был оскорблён до трещины в темени. — Меня! Игнорировать!

Наутро был случай, который чуть не опроверг открытие: мальчишка у колодца посмотрел, казалось, прямо на Консультанта — и засмеялся. Консультант приосанился. Я проследила направление детского взгляда: за черепом, шагах в пяти, коза объедала плетень, и делала это, признаю, уморительно. Показалось. Всем нам иногда кажется, что смеются нам, а смеются козе.

Дальше я поставила эксперимент серией — я всегда ставлю серией. Консультант висел перед носом пекаря: ноль. Вращался перед торговкой: «Свежий улов». Орал старосте в ухо «НЕДОИМКА!» — староста рассказал колодцу про мост. Спящих я проверяла осторожнее: старуха с горохом один раз сощурилась на пустое место, где он висел, — сощурилась и вернулась к гороху. Одна сомнительная точка на всю выборку. Записала с пометкой «перепроверить».

Итог эксперимента: живые Консультанта не видят. Ни пластинки, ни спящие. Вижу я. Видит муха — во всяком случае, врежется в него избирательно, что я трактую как «видит и презирает». Видит мышь.

— Это нормально, — заявил Консультант, когда я огласила протокол. — Живые не видят слуг Праха, пока те не... э-э... пока не... Есть условия! Три условия! Первое...

— Откуда ты это знаешь?

Он завис. Не как зависает интерфейс — как зависает человек, которому выдали большие деньги, а чемодан он потерял: деньги вот они, руки помнят вес, а предъявить — нечего.

— Основы, — сказал он наконец с достоинством. — Азы. Это все знают.

— Кто — все?

— ...Урок! — взвился он. — Немедленно урок! Муха разболталась без дисциплины!

И так — всякий раз. Он знал, как гасить свечу на расстоянии, «чтобы не мешала работе», знал, что кости вываривают в трёх водах, а щёлок портит «связку», знал, почему нежить не поднимают в дождь, — и спотыкался на любом «откуда», ронял ответ, шарил по пустым карманам памяти и уводил разговор в муху. Деньги были при нём. Чемодана не было. Я перестала спрашивать в лоб — стала записывать, что именно он знает. По списку выданных денег иногда можно восстановить, каким был чемодан.

О рисках, кстати.

В Нижних Плёсах не было священника. Ни попа, ни жреца, ни бродячего монаха — никого, кто по должности обязан реагировать на некромантию. Часовня на отшибе стояла законченной, службы не велись, и моя главная теоретическая угроза — «жгут ли здесь за Искусство» — оставалась непроверенной.

Проверять не хотелось. Есть категория встреч, которых разумный человек избегает всю жизнь. Например: нагреть партнёра на очень большие деньги — а через много лет случайно оказаться с ним в одной комнате. Кто был в такой комнате, знает: выйдет из неё один. Некромант и паладин — та же комната, только партнёр приходит с мечом и мандатом.

Я знаю, о чём говорю. Триста уровней я была той стороной, у которой меч и мандат. У Святой Елены случались квесты на еретиков — были, конечно, были: «очистить», «искоренить», «предать свету». Я не вникала. Опыт шёл хорошо, репутация с орденом росла, формулировки в заданиях были гладкие, как... как полированный камень. Кем были те, кого я предавала свету, — я не поинтересовалась ни разу за три года.

Теперь я стояла по другую сторону формулировки и очень надеялась, что нынешняя Святая — кто бы ни носил сейчас белый плащ — так же нелюбопытна, как была я. Надежда, скажем прямо, дурная: на себя в этом смысле я бы не понадеялась.

Через три с лишним здешних года сюда придут игроки. Среди них будут паладины. Комната, которой я избегаю, едет ко мне сама, по расписанию, с предзаказом.

Тем важнее было выяснить всё, что можно, до их прихода. И начать я решила с вопроса, который висел у меня незакрытым дольше прочих.

Заметила я это на очередном аудите: Консультант обходил часовню.

Не облетал — обходил, если это слово применимо к черепу: у развилки, где тропа тянулась мимо часовенного холма, он всякий раз забирал в сторону, через лопухи, делая крюк в тридцать шагов. Так переходят улицу должники, завидев кредитора.

— Почему ты туда не летаешь?

— Куда?

— К часовне.

— Я летаю где хочу!

— Хорошо. Полетели к часовне.

— ...Пыльно там, — сказал Консультант и улетел проверять муху.

Ночью я взяла из сарая ломик.

Часовня была маленькая, бревенчатая, чёрная от времени, дверь крест-накрест забита двумя досками. Доски пошли легко — гвозди устали раньше меня. Взлом культового сооружения, отметила я; список достижений становится разнообразнее. Мышь сидела у меня на плече — она теперь ездила на плече, я разрешила: у нежити не бывает блох, одни ачивки.

Внутри пахло пылью, воском и очень старым деревом. Узкие окна процеживали луну. У дальней стены стоял ряд ниш — шесть углублений в потемневшем резном киоте, и в пяти из них были лики: тёмные доски, писанные когда-то красками, теперь — тени в тенях. Под каждым ликом шла резаная вязь, старая, полустёртая; я разобрала, что это имена, и не разобрала ни одного.

Шестая ниша, крайняя слева, была пуста.

И вот что важно: она не была разорена. Разорение я бы узнала — щепка, скол, след топора. Ниша была гладкая. Дерево внутри — отполировано до тусклого блеска, ровно, чисто, без единой оспины, единственное чистое место во всём киоте. И полоса под ней, где положено имени, — такая же. Не соскоблили. Вынули. Одним движением, под корень.

Я уже видела эту работу. На камне за кладбищенской оградой. И носила её образец в собственной глотке.

Одна точка — случай. Две — совпадение. Три — почерк.

А потом я опустила взгляд ниже и увидела четвёртое.

Перед каждой нишей на полке темнели восковые потёки — старые, окаменевшие, слоями: сюда поколениями ставили свечи. Так вот, перед пустой нишей воска натекло больше, чем перед пятью остальными вместе. Горы воска. Пласты. Когда-то — давно, до полировки — именно сюда несли больше всего свечей. Именно этому лику. Именно это имя деревня звала чаще всех прочих.

А потом кто-то вынул его — и все забыли, кого звали.

Мышь на моём плече встала столбиком. Мордочкой к пустой нише, ушками торчком — та самая вахта, которой я не назначала. Я не стала её одёргивать. В конце концов, из нас двоих устав знала только она.

Воздух перед нишей сгустился — тем самым тёмным шрифтом, глухим, будто писали при плохом свете:

Задание «Найди имя»

Найдено: 1

Всего: неизвестно

Единица. Из неизвестно скольких.

Я стояла в заколоченной часовне, в чужом теле, с мёртвой мышью на плече, и чувствовала то, что в прежней жизни чувствовала дважды: когда впервые увидела чужую отчётность с двойной бухгалтерией — и когда поняла, что смогу это доказать. Холод и аппетит одновременно.

Проверим механику.

До кладбища я дошла за четверть часа, ночью, через лопухи. Камень за оградой был на месте — «УМЕР, НО НЕ ЗАБЫТ», гладкий шрам вместо имени. Я положила ладонь на полированное место, туда, куда месяц назад ушли мои два медяка.

Задание «Найди имя»

Найдено: 2

Всего: неизвестно

Значит, так это работает. Квест считает не имена — вычерки. Места, где имя было и где его вынули. Сколько их — система не знала сама или не говорила; по моему опыту, второе вероятнее: пометка «всего: неизвестно» в отчётах всегда означает «знаем, но вам не понравится».

Кто-то в этом мире ведёт бухгалтерию вычёркиванием. Некромант за оградой, которому оставили «не забыт» и отняли всё остальное. Лик в часовне, которому носили больше всех свечей. Моё имя, вынутое из моей глотки той же ровной рукой. Три статьи одной книги. Минимум три — счётчик обещал продолжение.

У сарая меня ждал Консультант. Он висел над поленницей и старательно смотрел в другую сторону.

— В часовне пусто, — сказала я. — Одна ниша. Гладкая. Перед ней — гора воска.

Челюсть у него клацнула. Раз, другой. Он начал что-то — «я», кажется, — и слово ушло у него из-под ног, как у меня уходит моё имя. Деньги при себе. Чемодана нет.

— Пыльно там, — выговорил он наконец очень тихо, без всякого пафоса, и это прозвучало не отговоркой, а показанием.

— Ничего, — сказала я. — Пыль — это по нашей части.

Я села на порог сарая. Мышь несла вахту на плече. За мельницей стояла ночь, и где-то в ней ходило то, что сворачивает шеи и забирает кости, и лежала деревня, оживающая вдоль моих троп, и ждало обновление со своим предзаказом.

Найди имя. Два из неизвестно скольких.

Я не знала, сколько всего вычеркнуто. Но я знала первое правило всякой двойной бухгалтерии: вычёркивают то, за что придётся отвечать.

А я сорок лет зарабатывала тем, что читала вычеркнутое.



Глава 7. За работой

Сначала покойник стал прибывать неправильно даже по новым меркам.

В предпоследнюю поставку Тихон, разжав ему челюсть, замер и подозвал меня коротким кивком. В дыхательных путях была мука. Свежая, тонкого помола, ещё пахнувшая жерновыми. Старик задохнулся мукой — вдохнул её столько, что она стояла в горле пробкой.

— Мельник, у которого гостит родня, мелет муку, — сказала я. — Логично.

— Помол не хлебный, — сказал Тихон и больше ничего не сказал, а я не стала записывать в журнал то, что подумала, потому что журнал — документ, а документам положено быть трезвыми.

В последнюю поставку покойник приехал тёплым.

Я приняла носилки, коснулась запястья — я всегда начинаю с проверки — и отдёргнула руку. Тепло. Не остывшее к вечеру тело — живое тепло, часа не прошло. Разрыв между смертью и логистикой сжимался, как будто там, на мельнице, торопились.

А потом он не приехал вовсе.

Солнце село за мельницу. Телега не закрипела. Я стояла у сарая с приготовленным столом, ковшом и пустотой в расписании и узнала новое: тишина в час поставки — это очень громко. На второй вечер тишина повторилась. Яма, выкопанная утром по привычке, стояла пустая и выглядела как вопрос.

— Хм, — сказал Консультант в первый вечер.

— Хм-хм, — уточнил он во второй и принялся летать вокруг сарая кругами, что у него означало высшую степень умственного напряжения.

— Излагай.

— Стабильный покойник — это... это редкость! Ценность! Стабильный покойник не пропадает просто так, он... — Консультант завис. — Откуда я... Неважно! Плохо это, вот что. Когда стабильное ломается — идёт волна. Аксиома!

— Чья аксиома?

— ...Народная! — отрезал он и улетел за поленницу держать оборону от вопросов.

Работы не стало. Тихон пластинкой правил лопату, которой нечего было копать. Я домыла инструмент, переписала журнал начисто и на третий день пошла в деревню — походкой человека, который делает вид, что гуляет, а сам считает.

У крайнего дома старуха лущила горох. При моём приближении она подняла голову — теперь она всегда поднимала голову, я привыкла и, честно говоря, ценила.

— Чего задумчивая ходишь?

— Работы нет, — сказала я. — Не знаю, хорошо это или плохо.

Старуха посмотрела на меня долго, по-старушечьи, из-под века.

— За работой, дочка, лично ходят, — сказала она и отвернулась к гороху так, как закрывают за собой дверь.

Воздух передо мной сгустился знакомым казённым звоном:

НОВОЕ ЗАДАНИЕ: За работой Поставки прекратились. Выясните почему. **Награда:** имя

Сложность: не определена

Я перечитала трижды.

Имя. Не «3 медяка», не «опыт», не «репутация». Имя — которое у меня вынули под корень, о котором молчит моя глотка и висит ошибка в статусе. Система, всё это время делавшая вид, что графа не существует, вдруг выставила её наградой — буднично, между строк, как выставляют на торги вещь, о происхождении которой лучше не спрашивать.

Сложность не определена. По моему опыту, такая пометка в документах означает «знаем, но вам не понравится».

— Бабушка, — сказала я старухиной спине. — А дети мельника — они где живут? На мельнице?

— Дети-то? — старуха не обернулась. — Так вот же бегают. С обручами которые. Мельниковы и есть, пятеро.

Я посмотрела через площадь. Дети гоняли обруч по своему вечному маршруту — я неделями ходила мимо, я записала их в реестр пластинок второй же день: пять штук, петля от колодца до плетня, интервал стабильный.

— Давно бегают?

Старуха не ответила. Спина у неё стала такая, что я не стала переспрашивать. Есть вопросы, на которые не отвечают не потому, что не знают ответа, а потому, что знают.

На мельницу я вышла после полудня, при полном свете — я не героиня баллады, чтобы ходить в проклятые места на закате. Со мной отправились мышь на плече и Консультант, который сначала заявил, что останется охранять поленницу, потом — что Наставник обязан сопровождать ученицу, потом замолчал и просто летел рядом, низко, почти по траве, как летают, когда хочется быть незаметным даже для тех, кто тебя и так не видит.

На половине подъёма навстречу мне по дороге прокатился обруч.

Один. Без детей. Ровно, не вихляя, со спокойной крейсерской скоростью — вверх по склону.

Я остановилась и проводила его взглядом до поворота. Мышь на плече встала столбиком. Консультант издал звук, которым, вероятно, черепа сглатывают.

— Аксиома? — спросила я.

— Народная, — прошептал он.

Мельница открылась с гребня холма вся сразу: чёрная, высокая, с растопыренными крыльями. День стоял глухой, ватный, без единого дуновения — дым из деревенских труб внизу поднимался свечками.

Крылья шли.

Мерно, тяжело, с потягом, как идут под хорошим рабочим ветром. Ветра не было. Было слышно, как внутри ворочаются жернова, и вот на этом звуке я впервые по-настоящему поняла слово «жуть» — не испуг, не тревогу, а именно жуть, тихую и площадью во весь холм.

Жернова не мололи. Жернова выговаривали.

Один и тот же обрубок звука, раз за разом, с одинаковым нажимом в одном и том же месте: «хрр-мм... хрр-мм...» — как человек, сорок лет пытающийся произнести слово, у которого отняли середину. Заикание из камня. Я слушала минуту и поймала себя на том, что мысленно подставляю в обрубок буквы. Перестала. Некоторые вакансии не стоит закрывать собой.

Двор был чисто выметен — и очень давно: ветер нанёс поверх чистоты слой листьев за несколько осеней. Поленница сложена. Колодезное ведро на цепи истлело до ржавой кружевной тени. Дом стоял с распахнутой дверью.

Внутри стол был накрыт на семерых.

Семь мисок. Каша в мисках закаменела в серый камень, ложки лежали кто где — две воткнуты, три брошены, одна на полу. Семь. Мельник, пятеро детей и гость. Ужин, с которого встали разом, посреди ложки, — и не вернулись. У стены шли в ряд пять кроватей, маленьких, застеленных туго и старательно, как застилают дети, которых проверяют. На подушках лежала пыль, ровная, годами не тревоженная, — и от этих пяти нетронутых подушек мне стало хуже, чем от каши.

Дети бегали внизу, в деревне. По петле. С обручами. Каждый день. А кровати ждали здесь, под пылью.

— Вы к хозяевам, барышня?

Я не вздрогнула. Я развернулась с той скоростью, с какой разворачиваются к голосу за спиной в пустом доме, — и назвать это «вздрогнула» не позволю никому.

В дверях стоял он.

Живой. Целый. Сухонький, семидесятилетний, с мирным лицом, в чистой рубахе. Родинку под левой лопаткой я знала лучше, чем свои новые руки; линию перелома на шее — на ощупь, с закрытыми глазами; вес его печени — с точностью до тома годового отчёта. Я обмыла этого человека сорок раз. Я завязывала ему челюсть. Я закрывала ему глаза так, чтобы не открывались.

Глаза были открыты и смотрели на меня приветливо.

— Хозяев нету, — сообщил он. — А я гошу. У родни гошу. Славная у них мельница, работающая. Вы проходите, чего в дверях-то.

— Давно гостите? — спросила я. Голос сработал ровно. Хорошая машина — голос, если её всю жизнь обслуживать.

— Да уж... — он задумался, и по лицу прошла рябь, как по воде от упавшего листа. — Гостил. Гошу. Гостил... — Слова заело, он моргнул и вышел из петли с любезной улыбкой: — Погостить — оно всегда славно.

Наверху жернова выговорили свой обрубок — «хрр-мм», — и гость, не замечая за собой, коснулся пальцами шеи. Того самого места. Потом виска — где был пролом. Тело помнило то, чего не помнил жилец.

Мышь на моём плече сидела столбиком и не шевелилась. Консультант висел за порогом, в тени, и молчал так старательно, что молчание скрипело.

— Я посмотрю мельницу, — сказала я гостю. — По работе.

— Дело хорошее, — согласился он. — Работающая мельница. Сама идёт.

Внутри мельницы было бело.

Мука лежала на всём — на балках, на ступенях, на цепях, на мешках, — тонкая, серовато-белая, глушащая шаг. Мешки стояли рядами, полные, увязанные, десятки мешков, и от них-то, от их хозяйственной аккуратности, и делалось нехорошо: кто-то фасовал. Годами.

Я развязала ближний, взяла щепоть, растёрла в пальцах.

Месяц кладбищенской академии — плохая замена дипломам, но одну дисциплину я сдала на отлично: кость я знала наизусть, на глаз и на ощупь, свежую и старую, крупную и в крошку. Помол был знаком мне поимённо. Вот игольчатая крупка — рёбра. Вот тяжёлая, зернистая — бедро. Вот чешуйка, тонкая и чуть выгнутая, — свод черепа, и я почти могла сказать, с какой стороны.

Мельница не молола зерна. Уже очень, очень давно.

Я аккуратно завязала мешок — не знаю зачем; наверное, потому что руки хотели сделать что-нибудь обыкновенное, — и поднялась к жерновам.

Они шли внизу своего хода, тяжёлые, серые, в вековом мучном нагаре, — и по верхнему камню, по его боку, широкой лентой бежала полоса без нагара. Гладкая. Полированная до тусклого блеска, ровная, без единой оспины — единственное чистое место на всём камне.

Я уже видела эту работу. На могиле за оградой. В часовне под горой воска. В собственной плотке.

Здесь по камню шла надпись — когда-то, кругом, по всему ободу. Её не сбили. Её вынули — и камень с тех пор крутится, крутится, крутится, выговаривая обрубок, пытаясь произнести слово, у которого отняли середину. Мельница заикалась не от поломки. Мельница заикалась от того же, от чего заикаюсь я на собственном имени.

Задание «Найди имя»

Найдено: 3

Всего: неизвестно

Тёмный шрифт развернулся и погас. Три. Из неизвестно скольких.

Я обошла жернов по кругу, пригибаясь, светя себе огарком, — и под нижней кромкой, там, куда не доставали ни полировка, ни нагар, нашла их. Буквы. Три штуки, резанные глубоко, старой вязью, уцелевшие в мёртвой зоне, куда не дотянулась вынимавшая рука:

...МОР...

— Не произноси.

Я обернулась. Консультант висел у лестницы — не влетел, вполз по воздуху, если так бывает, — и обе его глазницы были направлены на буквы.

— Что это?

— Не... — челюсть клацнула. — Я не... Камень нездешний. Такой камень брали в одном месте. В одном-единственном. На Чёрном городище, где... где...

Он завис. Деньги были при нём — я видела, как они при нём, целый сейф, — а чемодана не было, и он шарил, шарил по пустым карманам памяти, и впервые мне не было от этого смешно.

— Пыльно здесь, — сказал он наконец шёпотом, и это снова была не отговорка. Это было показание.

Снаружи начало смеркаться. Я поняла это по звуку: обрубок в жерновах стал жаднее.

А снизу, из дома, по двору, простучали шаги.

Гость шёл к мельнице.

Он вышел из дома, аккуратно прикрыв дверь, и шёл через двор походкой человека, идущего доить корову, — буднично, привычно, чуть вразвалку. Поднялся по наружной лестнице. Вошёл. Я стояла у жерновов и смотрела, как он идёт ко мне — мимо меня — к камням, и лицо у него было мирное, а пальцы сами, не спросясь, трогали шею, висок, шею, висок.

Сорок раз. Каждый вечер, к ужину, вот этой походкой. Вот сюда.

— Стойте, — сказала я.

— Дак работа, — улыбнулся он. — Мельница-то работающая. Ей помогать надо. Я погощу — и помогу, погощу — и помогу, я завсегда...

Жернова провернулись — «хрр-МММ» — громче, ближе, с потягом, и я почувствовала это кожей: не звук, а тягу. Камень тянул. Так же, как тяну я, когда поднимаю, — только сильнее в тысячу раз и без всякого «зачем». Слепая, вековая, стёртая тяга, которой всё равно, что перемалывать, лишь бы продлить попытку выговорить.

— Упокоение! — просипел Консультант у меня над ухом. — Быстро! Пока камень не взял!

— Я не умею упокоение.

— Умеешь! Это... это то же, что подъём, только... только наоборот! Подъём — когда берёшь и держишь! Упокой — когда... — он захлебнулся, зашарил, нашёл: — Когда отдаёшь! Разжимаешь! Не тяни его — отпусти! Я знаю! Я не знаю, откуда я знаю! НЕВАЖНО! РАЗЖИМАЙ!

Гость сделал ещё шаг. До жерновов оставалось два.

Я взяла его — так, как беру муху, мышь, как подписывают документ, от которого зависит слишком многое: тонко, точно, всей волей. И впервые почувствовала целиком то, что мышь слышит во мне до приказа: он повернулся. Не телом — тем, что оставалось под телом, истёртым, измочаленным сорока смертями, — повернулся ко мне, как поворачивается к теплу то, что очень давно замёрзло.

Он ждал приказа. Они все ждут моего приказа. Пришло время отдать первый настоящий.

— Хватит, — сказала я. — Отгостил.

И разжала.

Это оказалось невыносимо просто. Никакого усилия — усилием было всё предыдущее: держать, тянуть, длить. А тут я просто перестала — за себя и за камень, прекрыв его тягу

своей, на одно короткое право, которое у меня, оказывается, было. В глазах потемнело по краям, из носа побежало тёплое, пол качнулся.

Гость остановился. Опустил руку от виска. Посмотрел вокруг — на жернова, на мешки, на меня — впервые за сорок смертей осмысленно, ясно, до дна.

— Тише стало, — удивился он.

И кончился.

Не упал — осел, как оседает мука, легко и насовсем. На пол легло то, что я знала наизусть: сухонькое, семидесятилетнее, с мирным лицом. В последний раз.

Жернова провернулись ещё раз. Ещё. Медленнее. «Хрр...» — и встали. На середине обрубка, не доведя, — слово так и осталось произнесённым, теперь уже навсегда, и наступила тишина такой плотности, что у неё был вес. Я слышала, как оседает мука. Я слышала, как за стеной, снаружи, крылья дошли по инерции и замерли враскос.

Мышь на плече опустила на четыре лапки.

— Записывай, — прошептал Консультант благоговейно. — Урок... урок номер... — и не стал придумывать номер, и просто повис рядом, тихий, как я его ещё не видела.

Утром у мельничных ворот стояла телега.

Возчик сидел на ней и смотрел на собственные руки — долго, поворачивая их так и этак, как смотрят на вещи, найденные в кармане чужого пальто.

— Чья это телега? — спросил он человеческим голосом. Хриплым, слабым, но человеческим — я теперь различаю с одного слова.

И сразу, без перехода, страшно:

— Дети где?!

Снизу, от деревни, по дороге катились обручи. Пять. Ровно, дружно, вверх по склону, и за ними — спотыкаясь, теряя шапки, вырастая из своей петли на глазах — бежали дети. Я посторонилась. Мимо меня пронеслось пять лет непрожитого визга, и мельник — возчик, мельник, сорок раз возивший на погост собственное проклятие с ярлыком «родственник ихний», — сгрёб всех пятерых разом и осел с ними на землю, и я отвернулась, потому что есть отчётность, которую посторонним не показывают.

Гостя мы похоронили в тот же день. Вдвоём с Тихоном.

— Понадобится яма, — сказала я ему утром. — Настоящая.

— Земля нынче мягкая, — согласился Тихон, и впервые эта пластинка прозвучала как «да».

Копали на хорошем месте, в рядах, не за оградой. Тихон над телом проснулся, как всегда, и мы сделали всё по науке — от головы, воду на закат, монеты на глаза; монеты я положила свои, из жалованья, и рука не дрогнула ни на медяк. Имени для доски у нас не было — его имени не знал никто, может, и он сам, — но безымянным я его не оставила.

«УМЕР, НО НЕ ЗАБЫТ» — вывела я углём.

И поняла, что цитирую. Пусть. Хорошие формулировки на то и существуют, чтобы их воровать, — а эту я украла у единственного в этом мире работодателя, который не смотрел на меня сквозь.

Наутро я пришла проверить. Могила была на месте. Холмик, доска, уголь. Первая могила в моей практике, которая осталась.

Я постояла над ней дольше, чем предусматривает регламент. Регламент писала я. Внесу правку.

Награды пришли вечером, все разом, когда я уже перестала их ждать.

Задание выполнено: За работой Проклятие снято. Мельница очищена. Получено: право имени Получен статус: ИГРОК (ограниченный)

Статус развернулся сам, и я впервые за все эти месяцы увидела свой лист без ошибки данных в главной графе. Вместо неё стояло поле ввода с мигающей чертой:

Имя: [введите имя]

Я набрала «Елена».

Буквы съехали с поля, как вода со стекла.

Не «ошибка». Не «недоступно». Просто не удержались.

Это имя уже оплачено, поняла я. Другой кассой, по другому договору, и возврату не подлежит.

Система предлагала мне не вернуть имя.

Система предлагала выбрать новое.

Черта мигала. Я смотрела на неё и перебирала — быстро, профессионально, как перебирают названия для компании, зная, что с этим словом жить десятилетия. Что-нибудь простое? Рабочее? Деревня, кажется, уже зовёт меня про себя как-то — надо будет выяснить как: народный нейминг честнее брендбуков...

Черта мигала. Я закрыла поле.

Имя — это бренд. Бренды не выбирают на бегу, стоя по щиколотку в костной муке. Право получено, срок не горит — а торопливые названия я хоронила чаще, чем покойников.

Дальше в статусе значилось:

Выход: недоступен

Чат: недоступен

Игрок без выхода и без права голоса. В моей прежней практике это называлось «миноритарий». Ничего. Все мои лучшие сделки начинались с миноритарного пакета — главное, что меня наконец пустили к торгам.

А что торги открыты, стало ясно назавтра, на площади: доска у колодца за ночь обросла бумагой, как пень опятами. Листы висели в три слоя. «Крысы в погребе старосты — 3 медяка». «Трава-зверобойка для знахарки — 5 медяков». «Почистить колодец — 8». «Отвадить лису — 10». «Найти пропавший ларь — награда по уговору». «Узнать, отчего воет в овраге, — награда по уговору, ЕСЛИ ВЕРНЁТЕСЬ» — эту я перечитала дважды и мысленно поставила в очередь с пометкой «изучить, не влезая».

Задания разного калибра. Целая доска. На деревню, в которой из дееспособных — я, спящий могильщик и пять только что размороженных детей.

И три с лишним местных года до того, как сюда придут остальные.

Я стояла перед доской и понимала своё положение с той ясностью, с какой понимаешь его раз или два за жизнь. Я умерла и очнулась на заре биткоина — и в моём случае это не метафора, а биография. В прошлый раз я сочла новую валюту игрушкой для инженеров; эту ошибку мне припоминали тридцать лет, и припоминали заслуженно. Вселенная, надо отдать ей должное, редко выдаёт вторые шансы — а тут выдала, с доской, с пустым рынком и с форой в три с лишним местных года до прихода толпы.

Правило заре одно: хватай всё, пока цена — медяк. Каждый квест, каждый навык, каждое «первое выполнение», каждую связь, каждый клочок информации этой деревни — сейчас, пока никто не толкается локтями. Придут игроки — придут цены, конкуренция, паладины и вопросы. К этому дню я должна быть не находкой на их карте. Я должна быть той, у кого карта.

Я сняла с доски верхний лист. «Крысы в погребе старосты. 3 медяка».

Империю начинались и с меньшего. Моя первая, собственно, примерно так и начиналась.



Глава 8. Три медяка

Задание на три медяка я планировала закрыть до обеда.

Лист с доски был лаконичен, как всё в этой деревне: «Крысы в погребе старосты. Пошаливают. — 3 медяка». Пошаливают. Я ещё вернусь к этому глаголу. Я внесу его в чей-нибудь договор мелким шрифтом и посмотрю, как подписывают.

Штат выступил в полном составе. Консультант летел справа, в позиции старшего советника. Муха шла в воздушном эшелоне, восьмёрками. Мышь ехала на плече, столбиком, ушки по-боевому. Я несла лопату — за месяц она стала продолжением рук, а ничего более смертоносного в моём арсенале не значилось. Некромант второго уровня выходит на первый контракт: подъём мухи, подъём мыши, одно успокоение по знакомству и лопата. С таким портфелем в моё время шли разве что в политику.

— Диспозиция! — вещал Консультант. — Крыса — зверь трусливый! Увидит силу — побежит! Главное — явить силу!

— Явить у нас есть что?

— У нас есть я!

— Тебя не видят живые.

— ...Главное — лопата, — сменил доктрину Консультант.

Староста ждал у погреба — вернее, у склада: под его домом оказался целый амбарный этаж, вкопанный в холм, с воротами и каменными сводами. Староста отпер створку, сказал пластинкой: «Крысы, стало быть», — и отошёл на дистанцию, которую я про себя отметила как подозрительно большую для «пошаливают».

Внутри вели десять ступеней. Уже на третьей я начала пересматривать смету.

Пахло не мышами. Мышей я нюхала — у меня одна на плече служит. Пахло зверинцем: густо, тепло, обжито. На четвёртой ступени фонарь выхватил на балке следы зубов — на высоте моего колена. На шестой — помёт, при виде которого моя мышь на плече сделала то, чего не делала никогда: слезла и пересела мне за воротник.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.